ЭРИК-ЭММАНЮЭЛЬ ШМИТТ

роман, пьеса, повести



Дети Ноя

Эрик-Эмманюэль Шмитт

Аннотация
Эрик-Эмманюэль Шмитт. Дети Ноя

Аннотация

Действие повести «Дети Ноя» происходит во время второй мировой войны. Католический священник в пансионе укрывает от нацистов еврейских детей. Посвящается всем Праведникам Мира.

Эрик-Эммануэль Шмитт
Дети Ноя

Моему другу Пьеру Перельмутеру, чьей историей отчасти вдохновлено это повествование

Памяти аббата Андре, викария прихода Св. Иоанна Крестителя в Намюре, а также всех Праведников Мира

Мне было десять лет, когда я оказался в числе детей, которых каждое воскресенье выставляли на аукцион.

Нас не продавали, нам всего лишь предлагали пройтись вдоль помоста в надежде, что кто-нибудь захочет нас взять. Среди публики могли оказаться и наши собственные родители, наконец-то вернувшиеся с войны, и просто супружеские пары, желающие нас усыновить.

Каждое воскресенье я поднимался на эти подмостки в надежде, что меня если не узнают, то хотя бы выберут.

Каждое воскресенье во дворе Желтой Виллы мне надлежало сделать десять шагов, чтобы меня заметили, десять шагов, чтобы обрести семью, десять шагов, чтобы больше не быть сиротой. Первые шаги давались безо всякого труда, ибо нетерпение буквально выталкивало меня на сцену; однако к середине пути я ослабевал, и ноги с мучительным трудом преодолевали последний

метр. В конце, словно на краю вышки для прыжков в воду, меня ожидала пустота. Молчание, которое было глубже бездны. Чьи-нибудь уста, в рядах этих голов, этих шляп, лысин и причесок, должны были воскликнуть: «Мой сын!» или «Это он! Я хочу именно его! Я его усыновляю!» Чуть ли не вставая на цыпочки, напряженно вытягиваясь навстречу зову, который вырвал бы меня из небытия, я лихорадочно соображал, достаточно ли хорошо я позаботился о своей внешности.

Проснувшись на рассвете, я выскакивал из дортуара в холодную умывальную комнату, где битый час обдирал себе кожу куском зеленого мыла, твердым, как камень, долгим на размягчение и скупым на пену. Я двадцать раз проводил расческой по волосам, покуда не убеждался, что волосы легли как надо. И поскольку мой синий воскресный костюм, в котором я ходил к мессе, стал слишком узок в плечах, а рукава и брюки слишком коротки, я съеживался в этой грубой ткани, чтобы скрыть от всех, что вырос.

Пока ожидание длится, ты еще сам не знаешь, радость это или мука: готовишься к прыжку неизвестно куда. Погибнешь? Или, наоборот, удостоишься аплодисментов?

Конечно, мои ботинки производили сквер-

ное впечатление. Два куска жеваного картона. Больше дыр, чем субстанции. Зияния, перевязанные бечевкой. Ажурная модель, в отверстия которой беспрепятственно проникали холод, ветер и даже пальцы моих ног. Два башмака, оказавшиеся способными противостоять дождю не раньше, чем несколько слоев грязи покрыли их толстой коркой. Я не мог почистить ботинки, рискуя окончательно остаться без обуви. А единственным, что позволяло считать мои ботинки именно обувью, а не чем-либо иным, было то обстоятельство, что я носил их на ногах. Если бы я держал их в руках, мне бы наверняка вежливо указали местонахождение мусорного ящика. Может, лучше было выйти в моих обычных сабо, которые я носил по будням? Между тем посетители Желтой Виллы не могли заметить снизу мою обувь! А даже если бы и могли! Не отвергать же человека из-за его ботинок! Ведь отыскались же родители рыжего Леонара, хотя он вообще топал по помосту босиком!

— Ты можешь идти обратно в трапезную, малыш.

Каждое воскресенье мои надежды разбивались об эту фразу. Отец Понс полагал, что нынче меня опять не заберут и мне следовало покинуть

сцену.

Поворот. Десять шагов, чтобы исчезнуть. Десять шагов, чтобы вернуться в свою боль. Десять шагов, чтобы вновь оказаться сиротой. В конце помоста уже топтался другой мальчик. Ребра сдавливали мне сердце.

— Вы думаете, святой отец, у меня получится?

— Что получится, мой мальчик?

— Найти каких-нибудь родителей.

— «Каких-нибудь родителей»! Я надеюсь, что с твоими собственными родителями все в порядке и они вскоре объявятся.

Безрезультатно выставляя себя напоказ, я начинал чувствовать себя виноватым. Хотя при чем тут я? Ведь это же они все никак не приходят. Не возвращаются. Однако их ли в этом вина? Да и живы ли они вообще?…

Мне десять лет. Три года назад мои родители оставили меня на попечение чужих людей.

Вот уже несколько недель, как кончилась война. Вместе с нею кончилась пора надежд и иллюзий. Нам, спрятанным детям, предстояло возвратиться к реальности, чтобы получить, словно обухом по голове, известие о том, что у нас по-прежнему есть семья или что мы остались на земле одни…

Все началось в трамвае.

Мы с мамой ехали на другой конец Брюсселя, сидя в недрах желтого вагона, который сплевывал снопы искр и скрежетал жестью. Я думал, что эти искры с крыши ускоряют наше движение. Устроившись у мамы на коленях, в облаке ее сладких духов, прижавшись к ее воротнику из чернобурки, мчась сквозь серый город, я был, несмотря на свои семь лет, владыкой мира: прочь с дороги, бродяги! Мы едем! Автомобили расступались, повозки метались в панике, пешеходы разбегались перед нашим трамваем, в котором вагоновожатый вез нас с мамой словно вельможную чету в роскошной карете.

Не спрашивайте, как выглядела моя мама. Разве можно описать солнце? Мама излучала тепло, силу, радость. Это ощущение запомнилось мне лучше, чем черты ее лица. Подле нее мне было весело, я смеялся, и со мной не могло случиться ничего дурного.

В общем, когда в трамвай поднялись немецкие солдаты, я не ощутил никакого беспокойства. Просто стал играть свою роль немого ребенка, как мы условились с родителями: они боялись, что идиш выдаст меня, и потому я переставал говорить всякий раз, когда к нам приближались

серо-зеленые мундиры или черные кожаные пальто. В том 1942 году нас обязали носить желтую звезду, но мой отец, ловкий портной, ухитрился сшить нам такие пальто, на которых эти звезды были незаметны, однако при необходимости их можно было предъявить. Мама называла их «наши выпадающие звезды».

Солдаты разговаривали между собой, не обращая на нас внимания, но я почувствовал, как мама вздрогнула и напряглась всем телом, то ли повинуясь инстинкту, то ли уловив какую-то фразу из их разговора.

Она встала, прижав руку к моим губам, и на ближайшей остановке торопливо вытолкнула меня из трамвая. Едва оказавшись на тротуаре, я спросил:

— Почему мы вышли? Ведь наш дом дальше!

— Ты не хочешь немного прогуляться, Жозеф?

Я хотел всего, чего хотела мама, хотя едва поспевал за нею на своих семилетних ногах: ее шаг вдруг сделался быстрым и неровным.

По пути она предложила:

— Давай зайдем в гости к одной высокородной даме.

— Давай. А кто она?

— Графиня де Сюлли.

— А какого она роста?

— В каком смысле?

— Ты сказала, она высокородная…

— Я имела в виду, что она из благородных.

— Из благородных?

И мама пустилась в объяснения, что благородный — это человек высокого происхождения, очень древнего рода и что ради этого самого благородства ему следует оказывать большое уважение, и пока она мне все это объясняла, мы подошли к великолепному особняку и оказались в вестибюле, где слуги приветствовали нас поклоном.

Тут я был несколько сбит с толку, потому что женщина, которая вышла нам навстречу, совсем не соответствовала тому, что я успел вообразить: хоть она и была «древнего рода», графиня де Сюлли выглядела очень молодо и, несмотря на всю свою «высокородность» и «высокое происхождение», ростом была всего лишь чуточку больше моего.

Они с мамой о чем-то тихо и быстро переговорили между собой, затем мама поцеловала меня и велела ждать здесь, пока она не вернется.

Малорослая, молодая, обманувшая мои ожидания графиня повела меня в большую комнату,

где угостила чаем с пирожными и стала играть разные мелодии на фортепиано. Впечатленный ее высокими потолками, обильным угощением и красивой музыкой, я был готов пересмотреть свое отношение к хозяйке и, удобно устроившись в глубине мягкого кресла, признал в душе, что она была и впрямь «благородной дамой».

Она перестала играть, взглянула на большие настенные часы, вздохнула и, озабоченно наморщив лоб, подошла ко мне:

— Жозеф, не знаю, поймешь ли ты то, что я сейчас тебе скажу, но наша кровь не позволяет нам скрывать от детей правду.

Если так принято у благородных, то почему она навязывает свои правила мне? Быть может, она и меня считает благородным? И как в действительности обстоит дело со мной? Благороден ли я? Может, и да… Почему бы нет? Если не обязательно быть рослым или старым, то я вполне годился.

— Жозеф, ты и твои родители подвергаетесь серьезной опасности. Твоя мама слышала в трамвае разговор об арестах в квартале, где вы живете. Она пошла предупредить твоего отца и вообще всех, кого получится. Тебя она оставила здесь, чтобы я тебя спрятала. Я надеюсь, она вернется. Вот, собственно, и все. Я действительно надеюсь,

что она вернется.

Правда оказалась довольно болезненной, и я подумал, что быть благородным всегда, может, не так уж и здорово.

— Мама всегда возвращается. Почему бы ей и в этот раз не вернуться?

— Ее может арестовать полиция.

— А что она сделала?

— Ничего. Но она…

Тут у графини вырвался долгий, жалобный стон, от которого задрожали жемчужины ее ожерелья. На глазах у нее выступили слезы.

— Что — она? — спросил я.

— Она еврейка.

— Ну да. У нас в семье все евреи. Если хочешь знать, я тоже еврей.

Это была правда, и графиня расцеловала меня в обе щеки.

— А ты тоже еврейка?

— Нет. Я бельгийка.

— Я тоже бельгиец!

— Да, ты тоже. Но я христианка.

— Христиане — это которые против евреев?

— Которые против евреев — это нацисты.

— А христианок не арестовывают?

— Нет.

— Значит, христианкой быть лучше?

— Смотря для кого. Пойдем, Жозеф, я покажу тебе дом, пока твоя мама не вернулась.

— Вот видишь, значит, она вернется!

Графиня де Сюлли взяла меня за руку и по лестницам, которые взлетали к верхним этажам, повела осматривать вазы, картины и рыцарские доспехи. В ее комнате я обнаружил целую стену, состоявшую из платьев, развешанных на «плечиках». У нас дома, в Скарбеке,[1] мы тоже жили среди костюмов, ниток и тканей.

— Ты портниха, как мой папа?

Она засмеялась:

— Нет. Я покупаю туалеты, которые изготовляют модельеры вроде твоего папы. Ведь они же шьют не для самих себя, а для кого-то, верно?

Я кивнул, но не стал говорить графине, что свою одежду она явно выбирала не у нас, потому что у папы я никогда не видел таких красивых нарядов, расшитого бархата, ярких шелков, кружевных манжет и пуговиц, которые сверкали, как настоящие драгоценности.

Потом пришел граф и, когда графиня объяснила ему положение дел, внимательно посмотрел

---

[1] Примечания: 1
Район Брюсселя.

на меня.

Вот он как раз куда больше походил на благородного. Громадный, худой, старый — по крайней мере, усы придавали ему весьма почтенный вид, — он взирал на меня с такой высоты, что я сразу понял: это из-за него у них такие высоченные потолки.

— Пойдем обедать, мой мальчик.

И голос у него был благородный, это точно! Важный, густой, звучный, похожий на освещенные свечами бронзовые статуи.

За обедом я вежливо участвовал в неизбежном разговоре, хотя мысли мои были поглощены главнейшим вопросом: благородный я или нет? Если Сюлли готовы мне помогать и принимают меня у себя, то не потому ли, что я такой же, как они? То есть благородный?

К тому моменту, когда мы перешли в гостиную пить апельсиновый чай, я был уже готов изложить свои соображения по этому поводу, однако, опасаясь опровержения, промолчал, предпочитая еще немножко продлить столь лестные для меня сомнения…

Я уже засыпал, когда в дверь позвонили. И, разглядев из кресла, в котором я примостился, отца и маму, появившихся в вестибюле, я впервые в

жизни подумал, что они — другие. Сутулясь в своих поношенных пальто, с картонными чемоданами в руках, они говорили так робко и растерянно, словно блистательные хозяева дома, к которым они обращались, внушали им такой же страх, как ночь, из которой они сюда явились. И тогда во мне закралось новое сомнение: уж не были ли мои родители бедными?

— Облава! Они забирают всех. И женщин с детьми тоже. Забрали Розенбергов. И Мейеров. И Лагеров. И Перельмутеров. Всех…

Отец плакал. Мне было неприятно, что он, который не плакал никогда, расплакался перед такими людьми, как эти Сюлли. Что могла означать подобная несдержанность? Что мы тоже благородные? Из глубокого кресла, где я, как они думали, уснул, мне было видно и слышно все.

— Ехать… Куда ехать? Чтобы добраться до Испании, надо пересечь Францию, а там опасность ничуть не меньше. И вдобавок без фальшивых документов…

— Видишь, Мишке, — говорила мама, — надо было нам уехать в Бразилию с тетей Ритой.

— Пока мой отец болел, и речи быть не могло!

— Да он-то теперь уже умер, прими Господь его душу.

— Ну а теперь уже слишком поздно…

Граф де Сюлли направил беседу в нужное русло:

— Я позабочусь о вас.

— Нет, господин граф, что будет с нами — не самое важное. Надо спасти Жозефа. Его в первую очередь. И только его, если уж нельзя будет иначе.

— Да, — поддержала мама, — это Жозефа надо как следует спрятать.

Мне казалось, что такая забота о моей особе лишь подтверждает мою догадку: я — благородный. По крайней мере в глазах моих родителей.

Граф попытался снова их успокоить:

— Ну конечно, я займусь Жозефом. И о вас позабочусь тоже. Однако на некоторое время вам придется с ним разлучиться.

— Мой Жозефеле…

Мама рухнула в объятия маленькой графини, которая ласково похлопывала ее по плечу. В отличие от слез отца, которые вызывали чувство неловкости, мамины слезы разрывали мне сердце.

Будучи благородным, я не мог более притворяться спящим. В рыцарственном порыве я вскочил с кресла и бросился к маме, чтобы ее

утешить. Однако, когда я очутился подле нее, уж не знаю, что со мной произошло, только получилось наоборот: я уткнулся ей в колени и зарыдал даже громче, чем она. В один вечер Сюлли могли видеть плачущей всю нашу семью. Кто же теперь поверит, что мы тоже благородные!

Чтобы как-то отвлечь их внимание, отец раскрыл свои чемоданы.

— Вот, господин граф, возьмите. Я ведь все равно никогда не смогу с вами расплатиться, а это все, что у меня есть. Мои последние костюмы.

И он стал вытаскивать, вместе с вешалками, пиджаки, брюки и жилеты, которые он успел сшить. Он поглаживал их тыльной стороной ладони, обычным своим жестом, которым в лавке демонстрировал качество товара, подчеркивая гибкую мягкость ткани.

Я испытал некоторое облегчение при мысли о том, что отец не заходил в комнату графини и ему не пришлось созерцать ее роскошные наряды, иначе он сгорел бы на месте от стыда, осмелившись предложить свою затрапезную продукцию людям со столь изысканными вкусами.

— Мне не надо никакой платы, друг мой, — сказал граф.

— Нет-нет, прошу вас…

— Не обижайте меня. Я действую не из корысти. Пожалуйста, оставьте себе ваши сокровища, они могут вам пригодиться.

Этот граф назвал «сокровищами» костюмы, сшитые моим отцом! Что-то здесь ускользало от моего понимания. Неужели я ошибался?…

Нас проводили на самый верхний этаж дома и поселили в мансарде.

Я был поражен целым звездным пространством, которое виднелось в окошке, проделанном посреди крыши. Прежде мне никогда не доводилось наблюдать вечернее небо, потому что из окон нашей полуподвальной квартиры видны были только башмаки прохожих, собаки и кошелки с продуктами. Вселенский свод, этот глубокий бархат, усыпанный алмазами, представлялся мне логическим завершением благородного жилища, где на каждом этаже царила красота. Таким образом, над головой у Сюлли был не дом, в котором проживали шесть семей со своим многочисленным и сопливым потомством, а небо и звезды, лишенные веса. Мне решительно нравилось быть благородным.

— Видишь, Жозеф, — говорила мама, — вон та звезда — наша. Твоя и моя.

— А как она называется?

— Люди называют ее Пастушьей звездой,[2] а мы назовем ее «звездой Жозефа и мамы».

У мамы была склонность переименовывать звезды. Она закрыла мне глаза руками, заставила перекувырнуться через голову, а потом указала на небо:

— Где она? Можешь показать?

Я научился без труда узнавать в беспредельном пространстве «звезду Жозефа и мамы».

Прижимая меня к груди, мама напевала колыбельную на идиш. Едва закончив песню, она просила показать ей нашу звезду. Потом снова пела. Я изо всех сил старался не заснуть, чтобы продлить эти волшебные минуты.

В глубине комнаты отец возился с чемоданами, с ворчаньем складывая и перекладывая свои костюмы. В промежутке между двумя куплетами маминой песенки я, уже почти засыпая, спросил его:

— Папа, ты научишь меня шить?

Растерявшись от неожиданности, он медлил с ответом.

— Ну да, — настаивал я, — я тоже хочу делать сокровища. Как ты.

---

[2] Примечания: 2
Пастушья звезда — Венера.

И тогда, подойдя ко мне, он, обычно столь сдержанный и скупой на ласку, прижал меня к себе и поцеловал.

— Я научу тебя всему, что умею сам, Жозеф. И даже тому, чего не умею.

По-видимому, эта черная борода, жесткая и колючая, причиняла ему боль, так как он часто почесывал щеки и никому не давал до нее дотронуться. Но в этот вечер она его явно не беспокоила, и он позволил, чтобы я с любопытством ее пощупал.

— Мягкая, правда? — прошептала мама, краснея, словно признавалась в чем-то сокровенном.

— Ну-ну, что за глупости! — пробурчал папа.

Хотя в комнате стояли две кровати, широкая и узкая, мама настояла, чтобы я лег с ними, на широкую. Отец особенно не возражал. Он действительно изменился с тех пор, как мы стали благородными.

И тогда, вглядываясь в звезды, которые напевали колыбельную на идиш, я в последний раз уснул в маминых объятиях.

Мы так и не попрощались. Путаное стечение обстоятельств? Не исключено. А может, родители поступили так вполне сознательно. Им наверняка хотелось избежать этой тягостной сцены

и уж тем более не навязывать ее мне… Нить оборвалась так, что я этого даже не заметил: на следующий день, после обеда, они куда-то ушли и больше не вернулись.

Всякий раз, когда я спрашивал у громадного графа и крохотной графини, где находятся мои родители, ответ неизменно был один и тот же: «В надежном месте».

Приходилось довольствоваться этим ответом, поскольку моя энергия полностью уходила на освоение моей новой, благородной, жизни.

Если я не был занят исследованием углов и закоулков огромного дома, если не наблюдал за работой служанок, чистивших столовое серебро, вытряхивавших ковры или взбивавших подушки, то проводил целые часы в гостиной в обществе графини, которая совершенствовала мой французский, запрещая вставлять в разговор малейшее словечко на идиш. Я проявлял тем большее усердие, поскольку за это меня закармливали пирожными и услаждали мой слух фортепианными вальсами. А главное, я был убежден, что окончательное обретение мною статуса благородного человека немыслимо без освоения этого языка, пусть плоского, трудно произносимого, куда менее сочного и красочного,

чем мой родной, однако все же такого мягкого, размеренного и изысканного.

В присутствии гостей я должен был называть графа и графиню «дядюшкой» и «тетушкой», потому что они выдавали меня за одного из своих голландских племянников.

Я уж чуть было и сам в это не поверил, когда однажды утром особняк был оцеплен полицией.

— Полиция! Откройте! Полиция!

Какие-то люди яростно колотили в парадную дверь, звонка им было явно недостаточно.

— Полиция! Откройте! Полиция!

Графиня ворвалась в мою комнату в одном шелковом халате, подхватила меня на руки и отнесла в свою постель.

— Ничего не бойся, Жозеф, отвечай по-французски и говори то же, что и я.

Пока полицейские поднимались по лестнице, она принялась читать мне сказку, сидя в постели рядом со мной и, как и я, облокотившись на подушки, как ни в чем не бывало.

Ворвавшись в спальню, полицейские в бешенстве уставились на нас.

— Вы скрываете у себя еврейскую семью!

— Ищите где хотите, — высокомерно ответила графиня, — можете перерыть весь дом, просту-

чать стены, взломать сундуки, залезть под все кровати — вы ничего не найдете. Зато не позднее чем завтра, уж это я могу вам гарантировать, вы обо мне услышите.

— Но, сударыня, к нам поступило сообщение.

Тут графиня, по-прежнему сидя в постели, стала возмущаться, что бог знает чьи измышления могут приниматься на веру, затем предупредила, что дела этого она так не оставит, что об этом узнают во дворце, потому что она близка с королевой Елизаветой, и, наконец, объявила полицейским, что этот служебный промах дорого им обойдется, уж в этом они могут на нее положиться!

— А теперь ищите! Да поживее!

Ее самоуверенность и возмущение явно произвели впечатление, и начальник полицейских уже был готов отступить.

— Позвольте спросить, сударыня, кто этот ребенок?

— Мой племянник. Сын генерала фон Гребельса. Может, вам еще показать генеалогическое древо нашего рода? Да вы, мой мальчик, просто самоубийца!

После безрезультатного обыска полицейские ушли, растерянные, пристыженные, бормоча какие-то извинения.

Графиня соскочила с кровати. Нервы ее были на пределе, она плакала и смеялась одновременно.

— Жозеф, мне пришлось раскрыть при тебе один из моих секретов, одну из очень действенных женских уловок!

— Какую?

— Нападать, вместо того чтобы защищаться. Обвинять самой, а не оправдываться, когда тебя подозревают. В общем, кусаться первой, и побольнее.

— Это только женщинам можно?

— Нет. Можешь тоже этим пользоваться.

На другой день граф и графиня де Сюлли объявили, что мне нельзя больше оставаться у них, поскольку их ложь может открыться при первой же проверке.

— Сейчас придет отец Понс, он позаботится о тебе. Ты попадешь в очень хорошие руки, лучше просто не найти. Ты должен будешь называть его «отец мой».

— Хорошо, дядюшка.

— Его надо называть «отцом» не в том смысле, в каком ты зовешь меня «дядюшкой», не для того, чтобы люди думали, что он твой отец. Его все называют «отец мой».

— Даже вы?

— Даже мы. Он священник. Обращаясь к нему, мы говорим «отец мой». И полицейские тоже. И немецкие солдаты тоже. Все. Даже неверующие.

— Неверующие — это которые не верят, что он их отец?

— Неверующие — это которые не верят в Бога!

Мне было очень интересно встретиться с человеком, который был «отцом» всех на свете, или, по крайней мере, считался таковым.

— А этот отец Понс, — спросил я, — имеет какое-нибудь отношение к пемзе?[3]

Я подумал об этом легком, удивительно приятном на ощупь камне, который графиня приносила мне каждый раз, когда я был в ванне, чтобы я тер им ступни, снимая ороговевшую кожу. Похожий формой на мышь, этот предмет поразил мое воображение своей способностью тереть, столь неожиданной для камня, и менять цвет, стоило его намочить, становясь из серовато-белого антрацитно-черным.

Сюлли расхохотались.

— Не вижу ничего смешного, — сказал я обиженно. — Может, это он открыл пемзу… Или изобрел… Кто-то же должен был это сделать!

---

[3] Примечания: 3

«Пемза» по-французски — pierre ponce, что произносится похоже на рёге Pons (отец Понс).

Перестав смеяться, граф и графиня де Сюлли согласились:

— Ты прав, Жозеф. Это вполне мог быть и он. Только он к пемзе никакого отношения не имеет.

Все равно. Когда он позвонил в дверь, а затем вошел в дом Сюлли, я сразу догадался, что это он.

Возникало впечатление, что этот длинный, узкий человек состоит из двух частей, не имеющих между собою ничего общего: головы и всего остального. Его тело казалось бесплотным, под тканью не было заметно никаких выпуклостей, черная сутана выглядела совершенно плоской, словно висела на вешалке, и из-под нее виднелись начищенные до блеска ботинки, над которыми невозможно было заподозрить хоть какие-нибудь щиколотки.

Зато голова словно выскакивала из ворота, розовая, плотная, живая, новенькая и невинная, словно младенец после купания. Ее хотелось поцеловать и взять на руки.

— Добрый день, отец мой, — сказал граф. — Вот это и есть наш Жозеф.

Я разглядывал его, пытаясь понять, почему его лицо не только почти не вызывало у меня удивления, но еще и казалось неким подтвержде-

нием. Подтверждением чего? Его черные глаза доброжелательно смотрели на меня из-за легких круглых очков.

И тут меня осенило.

— У вас нет волос! — воскликнул я.

Он улыбнулся, и с этого мгновения я полюбил его.

— Я их почти все потерял. А то немногое, что еще растет, сбриваю!

— Зачем?

— Чтобы не терять времени на причесывание.

Я прыснул. Значит, он и сам не догадывается, почему он лысый? Вот потеха!.. Сюлли смотрели на меня вопрошающе. Неужели они тоже не в курсе? Сказать им? Ведь это же совершенно ясно: голова отца Понса гладкая, как галька, потому что он должен соответствовать своему имени — Пьер Понс!

Видя их настойчивое удивление, я понял, что лучше промолчать. Даже если меня примут за дурачка…

— Жозеф, ты умеешь ездить на велосипеде?

— Нет.

Я не решился объяснить причину своего неумения: с самого начала войны родители из осторожности запретили мне играть на улице.

Поэтому во всем, что касалось игр, я сильно отстал от своих сверстников.

— Тогда я тебя сейчас научу, — сказал этот отец. — Садись сзади и цепляйся покрепче.

Во дворе я приложил все усилия, чтобы не посрамить Сюлли, но мне не сразу удалось усидеть на багажнике велосипеда.

— А теперь попробуем на улице.

Когда у меня наконец получилось, граф и графиня подошли к нам и наскоро расцеловали меня.

— До скорой встречи, Жозеф. Мы приедем тебя навестить. Берегитесь Толстого Жака, отец мой.

Не успел я сообразить, что это было прощание, как мы с отцом Пенсом уже катили по улицам Брюсселя. Поскольку все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы не потерять равновесие, особенно печалиться было некогда.

Под мелким моросящим дождем, превратившим асфальт в маслянистое зеркало, мы стремительно мчались вперед, слегка покачиваясь на упругих шинах.

— Если нам попадется Толстый Жак, прижмись ко мне; будем беседовать с таким видом, словно мы знакомы всю жизнь.

— А кто это — Толстый Жак, отец мой?

— Еврей-предатель, который разъезжает по

городу в гестаповской машине. Как только он замечает на улице какого-нибудь еврея, то указывает на него немцам, а те арестовывают.

Я как раз обратил внимание на черную машину, медленно ехавшую за нами. Быстро оглянувшись, я успел разглядеть за ветровым стеклом, среди людей в темных пальто, бледное потное лицо с бегающими круглыми глазками, которые словно прочесывали тротуары проспекта Королевы Луизы.

— Толстый Жак, отец мой!

— Быстро расскажи мне что-нибудь. Ты же наверняка знаешь смешные истории. Верно, Жозеф?

Я принялся выкладывать ему весь свой запас анекдотов, не заботясь о том, чтобы выбирать самые удачные. Вот уж никак не предполагал, что они могут так рассмешить отца Понса, который хохотал во все горло. Вдохновленный его весельем, я тоже принялся хохотать, и, когда черная машина поравнялась с нами, я был так опьянен собственным успехом, что уже не обратил на нее внимания.

Толстый Жак злобно и пристально поглядел на нас, похлопывая маленьким, сложенным вчетверо белым платком по своим дряблым щекам, а

затем, явно раздраженный нашей жизнерадостностью, сделал водителю знак ехать быстрее.

Вскоре отец Понс свернул на боковую улочку, и черный автомобиль скрылся из виду. Я хотел было продолжить свое комическое выступление, но тут отец Понс воскликнул:

— Умоляю тебя, Жозеф, прекрати! Ты меня так смешишь, что я уже не могу крутить педали!

— Жаль. Вот и не расскажу вам, как три раввина испытывали мотоцикл!

Стемнело, а мы все еще были в пути. Город давно остался позади, теперь мы пересекали сельскую местность, и деревья сделались совсем черными.

Отец Понс вроде бы еще не выбился из сил, но почти не разговаривал, только изредка спрашивал: «Как дела?», «Держишься?», «Ты не устал, Жозеф?» И все же, по мере того как мы ехали, у меня возникало чувство, что он мне становится все ближе и ближе, — наверное, оттого, что я крепко обхватил его за пояс, моя голова покоилась на его спине и сквозь плотную ткань сутаны я ощущал приятное тепло этого узкого тела. Наконец мы проехали столбик с табличкой, на которой было написано: Шемлей. Это была деревня отца Понса, и он резко затормозил. Велосипед издал звук,

похожий на ржание, и я свалился в канаву.

— Молодчина, Жозеф, ты здорово жал на педали! Тридцать пять километров! Для начинающего велосипедиста это просто великолепно!

Я не осмелился возразить отцу Понсу. По правде говоря, к моему великому стыду, за всю поездку я ни разу не нажал на педали, я просто свесил ноги с багажника, и они болтались в пустоте. Неужели там были педали, а я их даже не заметил?

Но выяснить это я уже не успел — он быстро опустил велосипед на землю и взял меня за руку. Мы пошли прямо через поле к ближайшему дому на окраине Шемлея, узкому и приземистому строению. Там он знаком велел мне молчать и, обойдя стороной главный вход, постучался в дверь сарая.

Показалось чье-то лицо.

— Входите быстрее.

Мадемуазель Марсель, аптекарша, быстро затворила за нами дверь и велела спуститься по ступенькам в погреб, скупо освещенный масляной лампой.

Дети всегда пугались мадемуазель Марсель, и теперь ей тоже не удалось избежать обычного эффекта: когда она склонилась ко мне, я чуть не вскрикнул от отвращения. То ли из-за полумра-

ка, то ли из-за того, что лицо ее было освещено снизу, но мадемуазель Марсель была похожа на что угодно, только не на женщину, — скорее, картофелина на птичьем туловище. Ее лицо с крупными, грубо слепленными чертами, с морщинистыми веками, темной изрытой кожей походило на свежеокученный, и притом неловко, клубень; казалось, крестьянская сапка прорубила тонкий рот, а две выпуклости превратила в глаза; редкие волосы, седые у корней и рыжеватые по краям, свидетельствовали о некотором произрастании, связанном, очевидно, с весной. Подавшись вперед, на тонких ножках, с туловищем, состоявшим из одного живота, словно пузатая малиновка, раздувшаяся от шеи до самой гузки, уперев руки в бедра и заведя локти назад, будто готовясь взлететь, она уставилась на меня, вот-вот готовая клюнуть.

— Еврей, конечно? — осведомилась она.

— Да, — отвечал отец Понс.

— Как тебя звать?

— Жозеф.

— Это хорошо. Не придется менять имя: оно и еврейское, и христианское. Кто родители?

— Мама — Лея, папа — Микаэль.

— Я фамилию спрашиваю.

— Бернштейн.

— Хуже просто некуда! Бернштейн… Будешь Бертен. Я выправлю тебе бумаги на имя Жозефа Бертена. Иди сюда, тебя надо сфотографировать.

В углу, перед картонным щитом, на котором было намалевано небо над каким-то лесом, стоял табурет.

Отец Понс пригладил мне волосы, поправил одежду и велел смотреть в аппарат — громоздкий деревянный ящик с черной гармошкой на треноге высотой почти в человеческий рост.

В тот же миг в комнате полыхнула молния, такая резкая и необычная, что я решил, будто мне это почудилось.

Пока я тер глаза, мадемуазель Марсель вставила в свою гармошку новую пластинку, и световая вспышка повторилась.

— Еще! — попросил я.

— Нет, двух достаточно. Я проявлю их ночью. Вшей у тебя нет, надеюсь? На, протри голову этой жидкостью. Парши тоже нет? В любом случае я тебя как следует обработаю щеткой с серой. Что еще?… Короче, господин Понс, через пару дней я вам его верну. Вас это устраивает?

— Меня это устраивает.

Зато это вовсе не устраивало меня: мысль о

том, чтобы остаться с ней наедине, наводила ужас. Но сказать такое я не посмел и вместо этого спросил:

— Почему ты говоришь «господин Понс»? Надо говорить «отец мой».

— Я говорю так, как считаю нужным. Господин Понс отлично знает, что я терпеть не могу попов, всю жизнь не даю им спуску и от их облаток меня просто тошнит. Я фармацевт, первая женщина-фармацевт во всей Бельгии! С дипломом! Я училась, я занималась науками. Какой там «отец»!.. Пусть его другие так величают. К тому же господин Понс на меня не в обиде.

— Не в обиде, — подтвердил отец Понс, — я знаю, что вы добрая женщина.

Она заворчала, словно эпитет «добрая» слишком отдавал ризницей и ладаном:

— Никакая я не добрая, просто справедливая. Не люблю попов, не люблю евреев, не люблю немцев. Но я не могу допустить, чтобы трогали детей!

— Я знаю, что вы любите детей.

— Нет, детей я тоже не люблю. Но они же как-никак люди!

— Значит, вы все-таки любите людей!

— Слушайте, господин Понс, прекратите на-

вязывать мне любовь к чему бы то ни было! Типичные поповские штучки! Я не люблю никого и ничего. Моя профессия — фармацевт, это значит не давать людям помереть раньше времени. Я просто делаю свою работу, вот и все. Давайте проваливайте отсюда. Я вам верну мальчишку в хорошем состоянии, обработанного, чистого и с такими бумагами, чтобы эти мерзавцы оставили его в покое, черт побери!

Она развернулась и пошла прочь, не желая продолжать спор. Отец Понс наклонился ко мне и с улыбкой шепнул:

— В деревне ее так и называют — Черт-Побери. Она бранится похлеще, чем ее покойный отец-полковник.

Черт-Побери принесла мне поесть, постелила постель и тоном, не терпящим возражений, приказала как следует отдохнуть. Засыпая, я против воли испытал известное восхищение перед женщиной, у которой «черт побери» звучало столь же естественно, как у других — «добрый день».

Я провел несколько дней в доме устрашающей мадемуазель Марсель. Каждый вечер, после работы в своей аптеке, расположенной над погребом, она, нимало не смущаясь моим присутствием, бесстыдно фабриковала для меня фальшивые

документы.

— Ничего, что я тебе дам не семь лет, а шесть?

— Мне вообще-то скоро восемь, — попытался возразить я.

— Стало быть, тебе шесть лет. Так надежнее. Неизвестно, сколько еще продлится эта война. Лучше тебе стать взрослым как можно позже.

Когда мадемуазель Марсель задавала вопрос, отвечать на него было бессмысленно, так как вопрос она задавала лишь самой себе и лишь от самой себя ждала ответа.

— Будешь говорить, что твои родители умерли. Естественной смертью. Ну-ка, от какой болезни они могли умереть?

— Живот болел?

— От гриппа! Острая форма гриппа. Повтори-ка мне свою историю.

Следует отдать ей справедливость: когда речь шла о пересказе того, что сочинила она сама, мадемуазель Марсель все-таки прислушивалась к тому, что ей говорили.

— Меня зовут Жозеф Бертен, мне шесть лет, я родился в Антверпене, мои родители умерли прошлой зимой от гриппа.

— Хорошо. Вот тебе мятная пастилка.

Когда она бывала довольна мною, то вела себя

как дрессировщик: бросала конфету, которую я должен был поймать на лету.

Каждый день отец Понс заходил навестить нас, не скрывал, с какими трудностями приходится ему сталкиваться в поисках подходящего для меня убежища.

— На окрестных фермах все надежные люди уже приютили одного или двух детей. А некоторые колеблются. Они бы, пожалуй, согласились, если бы речь шла совсем о младенце… Но Жозеф уже большой, ему семь лет.

— Шесть, отец мой! — воскликнул я.

В виде похвалы за удачное выступление мадемуазель Марсель сунула мне в зубы конфету, после чего рявкнула священнику:

— Если хотите, господин Понс, я могу пригрозить этим колеблющимся.

— Чем?

— Черт побери! Если не примут ваших беженцев, не видать им больше никаких лекарств! Пусть подыхают!

— Нет, мадемуазель Марсель, надо, чтобы люди шли на такой риск добровольно. Ведь за укрывательство им грозит тюрьма…

Мадемуазель Марсель всем корпусом развернулась ко мне:

— Ты бы хотел учиться в пансионе отца Понса?

Зная, что отвечать бесполезно, я молча ждал продолжения.

— Возьмите его к себе на Желтую Виллу, господин Понс. Понятно, что прежде всего спрятанных детей кинутся искать именно там. Но, черт побери, с бумагами, которые я ему состряпала…

— А как я его прокормлю? Мне больше не выпросить у властей ни одного дополнительного талона на продовольствие. Вы же сами знаете, дети на Желтой Вилле постоянно недоедают.

— Тоже мне, проблема! Бургомистр нынче вечером явится сюда на укол. Дальше уж моя забота.

Вечером, опустив жестяную шторку своей аптеки с таким грохотом, словно взорвался танк, мадемуазель Марсель явилась за мною в погреб:

— Жозеф, ты мне наверняка понадобишься. Ты можешь подняться и посидеть молча в платяном шкафу?

Я промолчал, и она рассердилась:

— Я, кажется, тебя спрашиваю! Ты что, черт побери, оглох?

— Могу.

Когда звякнул дверной колокольчик, я проскользнул в шкаф и примостился среди густо пахнущей нафталином одежды, в то время как

мадемуазель Марсель повела бургомистра в служебную комнату позади аптеки. Она помогла ему избавиться от пальто, которое сунула мне прямо в нос.

— Мне все сложнее становится добывать для вас инсулин, господин Ван дер Мерш.

— Да, трудные нынче времена…

— Дело в том, что на будущей неделе я уже не смогу сделать вам укол. Ампулы на исходе. Дефицит! Кончено!

— Боже мой… А как же… мой диабет?…

— Никак, господин бургомистр. Разве что…

— Разве что?… Говорите же, мадемуазель Марсель, я на все готов!

— Разве что вы мне дадите продовольственные талоны. Я смогла бы выменять их на ваше лекарство.

В голосе бургомистра появились панические нотки:

— Это невозможно!.. За мной следят!.. Население деревни слишком увеличилось за последние несколько недель… И вы прекрасно знаете почему… Я не могу просить дополнительные талоны, не привлекая внимания гестапо… Это может плохо для нас кончиться… Для нас всех!

— Вот ватка, прижмите крепче. Еще крепче!

Донимая бургомистра, она приблизилась к шкафу и быстро шепнула:

— Достань у него из кармана ключи, только не те, что в кожаном футляре, а те, что на проволоке!

Я решил, что ослышался, и, похоже, она догадалась об этом. Так или иначе, она добавила сквозь зубы:

— Да пошевеливайся, черт побери!

Она вновь занялась бургомистром и его ваткой, а я тем временем вслепую тащил ключи из его кармана.

После ухода своего пациента она освободила меня из шкафа, отвела в погреб, а сама растворилась в ночи.

На другой день, рано утром, отец Понс зашел предупредить нас:

— Боевая тревога, мадемуазель Марсель! Из мэрии похищены продовольственные талоны!

Она потерла руки:

— Что вы говорите?! И как же это произошло?

— Грабители крюком подцепили ставни и разбили окно.

— Надо же! Бургомистр раздраконил собственную мэрию?

— Что вы имеете в виду? Что он сам их

украл?…

— Да нет, это я. С помощью его ключей. Но когда нынче утром я подбросила их ему в почтовый ящик, то была уверена, что он симулирует ограбление, чтобы его не заподозрили. Ладно, господин Понс, берите талоны. Вся эта пачка — ваша.

Угрюмое лицо мадемуазель Марсель было не способно улыбаться, но в эту минуту ее глаза горели веселым огнем.

Она взяла меня за плечи и подтолкнула:

— Давай! Теперь можешь идти со своим «отцом»!

Пока меня одевали, пока готовили сумку и собирали мои фальшивые бумаги, пока я пересказывал фальшивую историю своей жизни, — словом, до школы мы добрались, когда ученики уже обедали.

Желтая Вилла разлеглась на вершине холма словно огромная кошка. Каменные лапы лестницы вели к ее пасти — вестибюлю, некогда выкрашенному в розовый цвет, где вытертые диваны торчали сомнительным языком. На втором этаже выделялись два больших овальных окна, словно два глаза, внимательно наблюдающие за происходящим во дворе, между воротами и платанами. На крыше два надстроенных балкона,

щетинившиеся решетками из кованого железа, напоминали уши, а здание трапезной закруглялось с левой стороны хвостом.

Желтого в этой вилле не осталось ничего, кроме названия. Целое столетие грязи, дождей, обветшания и пятен от брошенных детьми мячей изгадили и исполосовали кошачий мех, который теперь выглядел скорее тускло-ржавым.

— Добро пожаловать на Желтую Виллу, Жозеф, — сказал отец Понс. — Отныне это твоя школа и твой дом. Здесь три типа учеников: приходящие, которые обедают у себя дома, те, кто на полупансионе и обедают здесь, и полные пансионеры, которые здесь живут. Ты будешь пансионером; я сейчас покажу тебе твою кровать и твой шкафчик.

Я размышлял об этих новых для меня различиях: приходящие, полупансионеры и пансионеры. Мне нравилось думать, что это не просто классификация, но иерархия: от порхающего туда-сюда школьника до полноценного учащегося, с полуучеником посреди. Я, таким образом, с ходу попадал в высшую категорию. Лишенный на протяжении последних дней своего «благородства», я был рад обрести это новое отличие.

В дортуаре я был совершенно очарован сво-

им шкафом — у меня никогда в жизни не было собственного шкафа, — и, созерцая его пустые полки, я грезил о бесчисленных сокровищах, которыми мог бы их заполнить, забыв о том, что в настоящий момент я мог положить туда лишь два использованных трамвайных билета.

— А теперь я познакомлю тебя с твоим крестным. У каждого пансионера Желтой Виллы есть большой товарищ, который его защищает. Руди!

Отец Понс прокричал «Руди!» несколько раз безо всякого успеха. Воспитатели эхом повторили его зов. Затем настал черед учеников. Наконец, по истечении промежутка времени, показавшегося мне невыносимым, этот долгозванный Руди явился.

Пообещав мне «большого» товарища в покровители, отец Понс не солгал: Руди был просто бесконечным. Он был таким высоким, что казался подвешенным на шнуре, скрытом за его покатыми плечами; его руки и ноги словно болтались в пустоте, обессиленные, развинченные, а голова склонялась вперед, словно под тяжестью слишком темной, слишком густой и слишком жесткой шевелюры, которая будто дивилась самой себе. Он передвигался медленно, как бы извиняясь за свои гигантские размеры, подобно

ленивому динозавру, всем своим видом говорящему: «Не бойтесь, я добрый, я ем только траву!»

— Вы меня звали, отец мой? — осведомился он мягким баском.

— Познакомься, Руди, это Жозеф, твой крестник.

— Ах нет, отец мой, это очень неудачная затея.

— Без возражений.

— Он, похоже, славный мальчик… За что ему такое?…

— Поручаю тебе показать ему школу и объяснить правила поведения.

— Мне?

— Именно тебе. Раз тебя часто наказывают, ты должен знать эти правила лучше любого другого. А со вторым звонком отведешь его в младший класс.

Отец Понс удалился. Руди смотрел на меня как на тяжеленную вязанку дров, которую ему предстояло тащить на себе. Потом он вздохнул:

— Как тебя звать?

— Жозеф Бертен. Шесть лет. Родился в Антверпене, родители умерли от испанки.

Он возвел глаза к небесам:

— Не рассказывай по-заученному, подожди, пока тебя спросят, иначе никто не поверит.

Раздосадованный собственной оплошностью, я вспомнил уроки графини де Сюлли и желчно накинулся на Руди сам:

— А почему это ты не хочешь быть моим крестным?

— Потому что меня сглазили, я неудачник. Если в кастрюле с кашей окажется камешек, он достанется мне. Если сломается стул, то только подо мной. Если упадет самолет, то наверняка на меня. Я сам непрушник, и другим от меня непруха. В тот день, когда я родился, моего отца выгнали с работы, а мать начала плакать. Если ты оставишь мне горшок с цветком, цветок засохнет. Если возьму велик, у него лопнет шина. У меня не руки, а какой-то кошмар. Когда звезды смотрят на меня, они содрогаются, а у луны играет очко. Я вселенское бедствие, ошибка природы, катастрофа, ходячее горе луковое, настоящий *шлемазл*.

По мере того как он причитал, срываясь от волнения с баса на дискант и обратно, я покатывался со смеху. Когда же он закончил свои стенания, я спросил:

— Скажи, а евреи здесь есть?

Он разом напрягся:

— Евреи? На Желтой Вилле? Ни одного! Никогда! С чего ты взял?

Он схватил меня за плечи и пристально посмотрел в глаза:

— Жозеф, ты что, еврей?

Он буравил меня взглядом. Я понимал, что он испытывает мое хладнокровие. В его суровости сквозила мольба: «Ну пожалуйста, соври, соври хорошенечко!»

— Никакой я не еврей!

Он ослабил хватку, явно успокоившись. Я продолжал:

— И вдобавок я вообще не знаю, что такое еврей.

— Я тоже не знаю.

— По-твоему, Руди, как они выглядят, эти евреи?

— Нос крючком, глаза навыкате, отвислая губа, уши торчком.

— Говорят, еще у них копыта вместо ног и хвост на заднице.

— Вот бы взглянуть разок, — сказал Руди с самым серьезным видом. — Во всяком случае, сейчас главное то, что евреи — это те, кого ищут и арестовывают. Тебе здорово повезло, что ты не еврей, Жозеф.

— Тебе тоже, Руди. Только постарайся избегать словечек на идиш и говорить «шлемазл» вместо

«недотёпа».

Он вздрогнул. Я улыбнулся. Каждый проник в тайну другого; отныне мы могли быть заодно. Чтобы скрепить наш союз, он заставил меня проделать вместе с ним сложную процедуру при помощи пальцев, ладоней и локтей, а затем плюнуть на пол.

— Пошли осматривать Желтую Виллу.

И, как ни в чем не бывало, обхватив мою ладошку своей громадной пятерней, словно и вправду был моим старшим братом, он отправился знакомить меня с миром, где мне предстояло провести ближайшие годы.

— А все же, — пробормотал он сквозь зубы, — разве ты не находишь, что у меня вид последнего бедолаги?

— Научись пользоваться расческой, и все изменится.

— Да ты только погляди на меня! У меня же не ноги, а баржи, а вместо рук грабли!

— Они просто выросли быстрее, чем все остальное, Руди.

— Я все время увеличиваюсь, я разрастаюсь во все стороны! Меня видно за версту!

— Большой рост, знаешь ли, внушает доверие.

— Ну да?

— И девочкам нравится.

— Ну да… А верно, надо и вправду быть шлемазлом, чтобы самого себя называть шлемазлом!

— Тебе, Руди, не удачливости недостает, а мозгов.

Так началась наша дружба: я с первых же минут взял назначенного мне «крестного» под свое покровительство.

В ближайшее воскресенье, в девять часов утра, отец Понс вызвал меня к себе в кабинет:

— Жозеф, мне очень жаль, но нужно, чтобы ты вместе с другими ребятами пансиона отправился к мессе.

— Хорошо. А почему вам очень жаль?

— Тебя это не шокирует? Ведь идти надо в церковь, не в синагогу.

Пришлось ему объяснить, что мои родители не ходили в синагогу и, как я подозревал, вообще не верили в Бога.

— Это не имеет значения, — заявил отец Понс. — Верь во что хочешь — в Бога Израиля, в христианского Бога или вообще ни в какого, но здесь веди себя как все остальные дети. Мы пойдем в деревенскую церковь.

— А не в ту часовню, что в глубине сада?

— Она больше не действует. К тому же я хочу,

чтобы в деревне знали всех овечек моего стада.

Я помчался в дортуар, чтобы успеть приготовиться. Почему мысль о мессе привела меня в такое возбуждение? Наверное, я чувствовал, что стать католиком очень полезно: это избавляло от опасности. Или того лучше — делало меня нормальным ребенком, как все. Быть евреем в данный момент означало, что мои родители не могли меня воспитывать, что мою фамилию лучше сменить, что мне следовало постоянно контролировать свои эмоции и вдобавок лгать. Что же в этом хорошего? В общем, мне очень хотелось стать сироткой-католиком.

Построившись по росту в колонну по двое, в своих синих суконных костюмах, мы спустились в Шемлей, чеканя шаг под скаутскую песню. У каждого дома нас встречали взгляды, исполненные доброжелательства. Нам улыбались. Нам дружески махали рукой. Мы, «сироты отца Понса», были частью воскресного спектакля.

Одна лишь мадемуазель Марсель, стоя на пороге своей аптеки, казалось, была готова вцепиться в глотку врагу. Когда наш священник, замыкавший шествие, проходил мимо нее, она, не в силах удержаться, проворчала:

— Вперед, на промывку мозгов! Пусть дуреют

от вашего курева! Пусть примут свою дозу опиума! Вы думаете облегчить им жизнь, а на деле травите их! Ваша религия — чистый стрихнин!

— Добрый день, мадемуазель Марсель, — с улыбкой отвечал отец Понс. — Как всегда по воскресеньям, гнев вам очень к лицу.

Застигнутая врасплох этим комплиментом, она в ярости ринулась внутрь аптеки, захлопнув за собою дверь так поспешно, что едва не сломала колокольчик.

Наша группа миновала портал со странными скульптурами, и я впервые в жизни очутился в церкви.

Получив наставления от Руди, я уже знал, что следует обмакнуть пальцы в кропильницу, изобразить на груди крест и, чуть присогнув на мгновение колени, пойти по центральному проходу. Следуя за шедшими впереди мальчиками и подталкиваемый теми, кто шел сзади, я с ужасом наблюдал приближение моей очереди. Я боялся, что стоит мне коснуться святой воды, как под сводами церкви гневно грянет грозный глас: «Это не христианский мальчик! Пусть уйдет! Он еврей!» Но вместо этого вода дрогнула от моего прикосновения, нежно приняла мою руку, свежая и чистая, и словно поцеловала мои пальцы. Ободренный, я

прилежно начертил на своем торсе совершенно симметричный крест, присел на одно колено там, где это сделали мои товарищи, шедшие впереди, а затем уселся рядом с ними на длинной скамье.

«Вот мы и в доме Божием! — произнес тонкий голос. — Спасибо, Господи, за то, что Ты принимаешь нас в доме Твоем!»

Я поднял голову: это и впрямь был всем домам дом! И уж точно не чей попало! Дом, где не было ни дверей, ни внутренних перегородок, с цветными окнами, которые не открывались, с бессмысленными колоннами и закругленными потолками. Зачем эти выгнутые потолки? Почему они такие высокие? И почему нет люстр? И зачем среди бела дня зажигать вокруг кюре свечи? Быстро оглядев помещение, я убедился, что скамей для всех нас было достаточно. Но куда же сядет Бог? И почему сотни три людей, сгрудившихся в самом низу этого жилища, занимают так мало места? Зачем нужно это огромное пространство вокруг нас? Где в этом доме обитает сам Бог?

Стены затрепетали, и этот трепет превратился в музыку: заиграл орган. Высокие звуки щекотали мне уши. От низких по спине пробегала дрожь. Мелодия растекалась, густая и изобильная.

В мгновение ока я все понял: Бог был здесь. По-

всюду вокруг нас. Повсюду над нами. Это был Он — воздух, который трепетал, пел, взмывал ввысь, под своды, и изгибался под куполом. Это был Он — воздух, расцвеченный витражами, сияющий, ласковый, пахнущий миррой, воском и ладаном.

Сердце мое было полно, я сам не понимал, что со мною. Я вдыхал Бога всеми легкими, я был на грани обморока.

Литургия продолжалась. Я совершенно ничего не понимал и наблюдал за обрядом лениво и восхищенно. Я пытался вникнуть в слова, но все это превышало мои интеллектуальные способности. Бог был то один, то их вдруг становилось два — Отец и Сын, а порой и целых три — Отец, Сын и Святой Дух. Кто был этот Святой Дух? Родственник? Потом меня и вовсе охватила паника: их стало четыре! Шемлейский кюре присоединил к ним еще и женщину — Деву Марию. Запутавшись в этом внезапном богоумножении, я переключился на пение, потому что мне нравилось подпевать.

Когда же кюре собрался раздавать круглые маленькие печенья, я было пристроился в очередь, но мои товарищи меня не пропустили.

— Тебе пока нельзя. Ты маленький. У тебя еще не было первого причастия.

Слегка огорченный, я все же вздохнул с облегчением: меня отстранили не потому, что я еврей, значит, это не так уж заметно.

Возвратившись на Желтую Виллу, я побежал к Руди поделиться своими восторгами. Мне никогда прежде не доводилось бывать ни в театре, ни на концерте, и католическая церемония представлялась мне великолепным спектаклем. Руди добродушно выслушал меня и покачал головой:

— А ведь самого прекрасного ты не видел…

— Ты о чем?

Он взял что-то в своем шкафчике и знаком велел мне следовать за ним в парк. Уединившись под каштаном, вдали от любопытных взглядов, мы уселись на землю по-турецки, и тогда он протянул мне то, что принес с собой.

Из молитвенника в замшевом переплете, невероятно ласковом и нежном на ощупь, со страницами с золотым обрезом, напоминавшим золото алтаря, и шелковыми ленточками-закладками, похожими на зеленое облачение священника, он извлек чудесные открытки. На них была женщина, всегда одна и та же, хотя черты ее лица, прическа, цвет глаз и волос менялись. Каким образом я узнал, что она была та же самая? По свету, исходившему от ее чела, по

ясному взгляду, по невероятной белизне кожи, которая слегка розовела на щеках, и по простоте ее длинных, ниспадавших складками платьев, в которых она выглядела такой величавой, сияющей, царственной.[4]

— Кто это?

— Дева Мария. Мать Иисуса. Жена Бога.

Сомнений не оставалось — она точно была божественного происхождения. Она светилась. И свет этот передавался всему, что ее окружало, — даже картон казался уже не картоном, а чем-то вроде пирожного безе, из снежно-взбитых белков, с рельефным рисунком, кружева которого подчеркивали оттенки нежно-голубого, эфирно-розового и других пастельных тонов, казавшихся более хрупкими и дымчатыми, чем облака, потревоженные зарей.

— По-твоему, это золото?

— Конечно.

Я вновь и вновь водил пальцем по драгоценному головному убору вокруг этого спокойного лица. Я прикасался к золоту. Я нежно поглаживал шапочку Марии. И Мать Бога мне это позволяла.

Внезапно глаза мои наполнились слезами, я

---

[4] Примечания: 4

Речь идет об особых открытках с изображением Богородицы, которые у католиков дарят детям в день их первого причастия.

выпрямил ноги и растянулся на земле всем телом. Руди тоже. Мы тихо плакали, прижимая к сердцу свои карточки. Оба думали о наших матерях. Где они? Так ли им сейчас спокойно и светло, как Деве Марии? И написана ли теперь на их лицах та любовь, которую мы видели тысячу раз, когда они склонялись над нами, и которую мы видели вновь на этих открытках, — или сейчас там скорбь, тоска, отчаяние?

Я принялся напевать мамину колыбельную, и небо между ветками раскачивалось ей в такт. Руди хрипло подтянул, двумя октавами ниже. Так нас и застал отец Понс — напевающих считалочку на идиш, плача над бесхитростными изображениями Девы Марии.

При его появлении Руди тотчас убежал. В свои шестнадцать лет он больше моего боялся выглядеть смешным. Отец Понс уселся рядом со мной.

— Тебе здесь не очень плохо?

— Нет, отец мой.

Сглотнув слезы, я попытался сделать ему приятное:

— Мне очень понравилась месса. И я рад, что буду на этой неделе учить катехизис.

— Тем лучше, — сказал он не очень уверенно.

— Наверное, потом я стану католиком.

Он ласково поглядел на меня.

— Ты еврей, Жозеф, и даже если предпочтешь мою религию, ты все равно останешься евреем.

— А что значит «быть евреем»?

— Быть избранным. Происходить из народа, который Бог избрал тысячи и тысячи лет тому назад.

— А почему он нас избрал? Потому что мы были лучше других? Или, наоборот, хуже?

— Ни то ни другое. У вас не было ни особых достоинств, ни особых недостатков. Просто это выпало вам, вот и все.

— Да что же это такое нам выпало?

— Миссия. Долг. Свидетельствовать перед людьми, что есть только один Бог, и с помощью этого Бога побуждать людей уважать себя и других.

— По-моему, у нас это не очень получилось, верно?

Отец Понс не ответил, и я продолжал:

— Если нас и избрали, то скорее как мишень. Ведь Гитлер хочет нас уничтожить.

— Может быть, именно поэтому. Потому что вы — препятствие его варварству. Необычайна миссия, которую Бог поручил вашему народу, а не сам ваш народ. Знаешь ли ты, что Гитлер хотел бы уничтожить и христиан?

— Не выйдет, их слишком много!

— Пока что действительно не выходит. Он попытался сделать это в Австрии, но быстро прекратил. Тем не менее это часть его плана. Истребить и евреев, и христиан. Начал он с вас. Закончит нами.

Так я понял, что деятельность отца Понса объяснялась не одною лишь добротой, но и солидарностью. От этого мне даже стало спокойнее, и тогда я подумал о графе и графине де Сюлли.

— А скажите-ка, отец мой, если я происхожу из народа, которому столько тысяч лет, который избранный и все такое, — значит, я благородный?

От изумления он чуть замялся, а потом пробормотал:

— Ну да, разумеется, ты благородный.

— Так я и думал!

Я испытал явное облегчение от того, что моя интуиция меня не обманула. Отец же Понс продолжал:

— Для меня вообще все люди такие — то есть благородные.

Я пренебрег этим уточнением и предпочел запомнить лишь то, что меня устраивало.

Прежде чем уйти, он потрепал меня по плечу:

— Быть может, тебе покажется это странным,

но я бы не хотел, чтобы ты слишком интересовался катехизисом и литургией. Довольствуйся необходимым минимумом, ладно?

Он удалился, оставив меня в ярости. Значит, раз я еврей, я не имею права на нормальную жизнь? Мне ее выдают лишь по крохам! Я не должен считать ее своей! Эти католики хотят оставаться только в кругу своих, — свора лицемеров и лжецов!

Вне себя, я разыскал Руди и дал полную волю своему гневу на отца Понса. Руди не пытался меня успокоить и даже поддержал мое намерение держаться подальше от священника.

— Ты правильно делаешь, что не доверяешь ему. С этим субчиком вообще не все ясно. Я доподлинно знаю, что у него есть один секрет.

— Какой еще секрет?

— Другая жизнь. Тайная. И наверняка постыдная.

— Что за другая жизнь?

— Нет, я не должен ничего говорить.

Пришлось приставать к Руди до самого вечера, пока он, обессилев от сопротивления, наконец не поведал мне то, что ему удалось обнаружить.

Каждую ночь, после отбоя, когда дортуары закрывались, отец Понс бесшумно спускался

по лестнице, с предосторожностями опытного взломщика отпирал заднюю дверь и выходил в школьный парк. Возвращался он лишь часа через два или три, оставляя в комнате на время своего отсутствия зажженную лампу, чтобы все думали, будто он у себя.

Руди заметил эти ночные отлучки отца Понса, а затем удостоверился в их регулярности, когда сам тайком выбирался из дортуара, чтобы покурить в туалете.

— Куда же это он ходит?

— Понятия не имею. Нам запрещено покидать Виллу.

— Я его выслежу.

— Ты? Да тебе всего шесть лет!

— Вообще-то, по правде, семь. Даже почти восемь.

— Тебя выгонят!

— Думаешь, отправят к родителям?

И хотя Руди чуть не с воплями отказывался стать моим сообщником, я все-таки выцыганил у него часы и стал с нетерпением дожидаться ночи, причем сна у меня не было ни в одном глазу.

В половине десятого я осторожно пробрался между кроватями до самого коридора, где, укрывшись за большой фаянсовой печью, увидел, как

отец Понс спускается по лестнице, бесшумно, словно тень, скользя вдоль стен.

Дьявольски стремительный, он легко справился с массивными замками задней двери и проскользнул в сад. Промешкав минуту из необходимости медленно, без скрипа отворить дверь, я чуть было не потерял из виду его хрупкий силуэт, быстро удалявшийся среди деревьев. Неужели достойный священник, спаситель детей, и был тем самым человеком, который сейчас проворно несся в неверном свете луны, изворотливый как волк, ловко уклоняясь от кустов и корней, о которые я то и дело спотыкался своими босыми ногами? Я дрожал при мысли, что он от меня уйдет. Хуже того, я боялся, что он просто исчезнет, ибо нынче вечером он явил себя существом злокозненным и знакомым с самыми хитроумными уловками.

Он замедлил шаг лишь на полянке, где заканчивался парк. Впереди высилась ограда. Отсюда был только один выход — расположенная рядом с заброшенной часовней маленькая железная дверь, за которой была дорога. Для меня погоня прекращалась здесь: в одной пижаме, босиком, с задубевшими от холода ногами, я бы ни за что не осмелился преследовать его по незнакомой

местности. Однако он приблизился к церквушке, достал из своей сутаны громадный ключ, отпер дверь и тотчас затворил ее за собой. Я услышал, как изнутри ключ дважды повернулся в замке.

Так вот, стало быть, в чем заключался секрет отца Понса? Он всего-навсего отправлялся по вечерам в старую часовню в глубине сада, чтобы молиться в одиночестве! Я был разочарован. Тоже мне, тайна! Никакой романтики! Дрожащему от холода, с мокрыми по щиколотку ногами, мне ничего не оставалось, кроме как вернуться в дортуар.

И тут ржавая дверь в стене приоткрылась. Какой-то человек, с мешком на плечах, проник на территорию Желтой Виллы и уверенно направился к часовне. Он несколько раз осторожно постучал в дверь, и стук этот явно был условным.

Священник открыл, вполголоса обменялся с гостем несколькими словами, забрал мешок и тотчас заперся снова. Незнакомец немедленно исчез за железной дверью в ограде.

Я по-прежнему стоял за деревом, потрясенный. Какими махинациями занимался отец Понс? Что ему принесли в этом мешке? Я уселся на покрытую мхом землю, прислонившись спиной к

дубу, полный решимости дожидаться следующих поставок.

Ночная тишина трещала по всем швам, словно пожираемая пламенем тоски. Быстрые шорохи, резкие вспархивания, внезапные, необъяснимые всполохи, жалобные постанывания, столь же невнятные, как и сменяющая их безмолвная боль. Сердце учащенно колотилось у меня в груди. Голову сдавливал невидимый обруч. Мой страх все более напоминал горячку.

Единственным, что приносило мне некоторое успокоение, было тиканье часов. Часы Руди, дружественные и непоколебимые, не поддаваясь страху ночной темноты, продолжали отсчитывать время у меня на запястье.

В полночь отец Понс вышел из часовни, тщательно запер дверь и направился обратно к Желтой Вилле.

Я был так измучен, что едва не остановил его по дороге, но он так поспешно пронесся между деревьями, что я просто не успел.

На обратном пути я был менее осторожен. Несколько раз у меня под ногой хрустнула ветка, и при каждом шорохе священник останавливался и вглядывался во тьму. Добравшись до Виллы, он быстро юркнул в дверь, и до меня донесся звук

запираемых замков.

Оказаться запертым снаружи — вот чего я не предусмотрел! Здание высилось передо мной — массивное, мрачное и враждебное. Холод и усталость истощили мои силы. Что было делать? Ведь утром непременно выяснится, что я ночевал неизвестно где, а кроме того… — вот именно: куда бы сейчас пойти переночевать? До утра, между прочим, можно и не дотянуть!

Я уселся на ступеньки и заплакал. Это меня, по крайней мере, немного согрело. Тоска диктовала единственно возможный выход из положения: умереть! Да, самым достойным было именно умереть — здесь, сейчас, сию минуту!

Чья-то рука легла на мое плечо.

— Давай заходи скорее!

Я подскочил от неожиданности. На меня печально смотрел Руди:

— Когда я увидел, что ты не вернулся вслед за отцом Понсом, я догадался, что у тебя какие-то проблемы.

И хотя он был моим крестным, хотя росту в нем было два метра и я должен был держать его в ежовых рукавицах, если хотел сохранить свою независимость, я бросился к нему на шею и, на время нескольких слезинок, примирился с тем,

что мне всего семь лет.

На следующий день, во время перемены, я рассказал Руди обо всем, что видел ночью в саду. С видом знатока он незамедлительно поставил диагноз:

— Черный рынок! Он торгует на черном рынке, как все. Тут и гадать нечего.

— А что, по-твоему, ему доставляют в этом мешке?

— Ясное дело, жратву!

— А почему же он не приносит свой мешок сюда?

Мой вопрос поставил Руди в тупик. Я продолжал наступать:

— И зачем он торчит два часа в старой церкви, в кромешной тьме? Что он там делает?

Руди запустил пятерню в свою дикую гриву, словно в поисках ответа.

— Почем я знаю… Может, ест то, что ему принесли в мешке!

— Чтобы отец Понс ел битых два часа, это при его-то худобе? И съел все, что было в здоровенном мешке? Ты сам-то веришь в то, что говоришь?

— Нет.

Весь день я наблюдал за отцом Понсом всякий раз, как представлялась возможность. Что за

тайну скрывал этот человек? Он ухитрялся вести себя настолько естественно, что мне становилось просто страшно. Неужто возможно так притворяться? Неужто можно так обманывать? Какое чудовищное двуличие! А что, если он сам дьявол в сутане?

Перед самым ужином Руди радостно кинулся ко мне:

— Я понял! Он участвует в Сопротивлении. Наверное, прячет в заброшенной часовне радиопередатчик. И каждый вечер получает сведения, а потом передает их кому надо.

— Точно!

Это предположение понравилось мне сразу же, ибо было спасительным для отца Понса, возвращая доброе имя герою, который пришел за мной в особняк графа де Сюлли, чтобы вызволить из беды.

Под вечер отец Понс затеял во дворе футбольный матч. Я не стал играть, чтобы без помех восхищаться этим человеком — таким свободным, ласковым, смеющимся, среди детей, которых он спасал от нацистов. В нем не таилось ровным счетом ничего демонического — одна лишь доброта. И не видеть этого мог только слепой!

В следующие дни мне спалось немножко луч-

ше. Дело в том, что с самого моего прибытия в пансион приближение ночи нагоняло на меня тоску и страх. Лежа на железной койке, в холодных простынях, ударяясь костями сквозь тощий матрац о металлические пружины кровати, под внушительным потолком нашего дортуара, где кроме меня спали тридцать моих товарищей и дежурный воспитатель, я более чем когда-либо испытывал невыносимое одиночество. Я боялся заснуть, я боролся со сном изо всех сил, и во время этой борьбы мне совсем не нравилось мое собственное общество. Хуже того, оно мне было отвратительно. Я был просто грязным отребьем, вошью, и даже в навозной куче было больше смысла и прелести, чем во мне. Я ругал себя последними словами, я грозил себе ужасными карами. «Если ты снова это сделаешь, тебе придется отдать свой самый чудесный красный агатовый шарик мальчику, которого ты ненавидишь больше всех, — например, Фернану!» Но никакие угрозы не помогали… Несмотря на все меры предосторожности, утро заставало меня посреди липкого, теплого, сырого пятна с тяжелым духом свежего сена, которое поначалу даже доставляло мне удовольствие прикосновением и запахом, и я с наслаждением ворочался в нем,

покуда, проснувшись, не осознавал, что опять описался в постели! Я готов был сгореть со стыда, тем более что вот уже несколько лет как со мной не случалось ничего подобного. А Желтая Вилла отбрасывала меня назад, и я никак не мог понять почему.

Несколько ночей подряд, быть может потому, что перед сном я размышлял о героизме отца Понса, мне удавалось держать под контролем свой мочевой пузырь.

Однажды в воскресенье, после обеда, Руди подошел ко мне с заговорщицким видом:

— У меня есть ключ…

— Какой ключ?

— Да от часовни же!..

Теперь мы могли проверить деятельность нашего героя.

Спустя несколько минут, тяжело дыша от волнения, но исполненные энтузиазма, мы проникли в часовню.

Она была пуста.

Ни скамеек, ни аналоя, ни алтаря. Ничего. Облупившиеся стены. Запыленный пол. Ошметки сухой, затвердевшей паутины. Ничего. Обветшалое строение, не представляющее ни малейшего интереса.

Мы не смели взглянуть друг другу в глаза из страха в разочаровании другого найти подтверждение своему собственному.

— Давай влезем на колокольню. Радиопередатчики обычно устанавливают на высоте.

Мы взлетели вверх по винтовой лестнице. Но и там нас дожидались лишь многочисленные пятна голубиного помета.

— Этого просто не может быть!

Руди топнул ногой. Его гипотеза рушилась на глазах. Отец Понс ускользал от нас. Нам опять не удавалось раскрыть его тайну.

И что было для меня еще горше, я не мог более убеждать себя в его героизме.

— Надо возвращаться.

На обратном пути через парк мы не обменялись ни единым словом, мучимые все тем же вопросом: чем же это каждую ночь занимался священник среди голых стен и без света? Мое решение было принято бесповоротно: я больше не собирался ждать ни дня, чтобы выяснить это, тем более что иначе я вновь рисковал напрудить в постель.

Ночь. Пейзаж умирает. Смолкают птицы.

В половине десятого я уже занял пост в укрытии на лестнице, одетый потеплее, чем в прошлый

раз: шея повязана платком, а на ногах — сабо, обмотанные украденным в мастерской сукном, чтобы не стучали.

Знакомая тень пронеслась вниз по лестнице и углубилась в парк, где темнота уже поглотила все.

Оказавшись на полянке у самой часовни, я метнулся к двери и отбарабанил по деревянной створке условный сигнал.

Дверь приотворилась, и я, не дожидаясь ответа, проскользнул внутрь.

— Но позвольте…

Священник не успел меня разглядеть, он мог лишь заметить проскочивший в дверь силуэт, который был мельче, чем обычно. Он машинально запер за мной дверь. Мы оба очутились в темноте, и ни один не мог различить не только лица, но даже очертаний другого.

— Кто здесь? — крикнул отец Понс.

Перепуганный собственной дерзостью, я не решался ответить.

— Кто здесь? — повторил священник, и в голосе его на этот раз прозвучала угроза.

Мне хотелось убежать. Послышалось чирканье, вспыхнул огонек. В слабом, неверном свете спички лицо отца Понса показалось неправильным,

искаженным, пугающим. Я отступил. Огонек приблизился.

— Как! Это ты, Жозеф?

— Да.

— Как ты посмел покинуть пансион?

— Я хочу знать, что вы тут делаете.

И не переводя дыхания, одним длиннющим предложением я рассказал ему о своих сомнениях, слежке, вопросах и пустой церкви.

— Сейчас же возвращайся в дортуар.

— Нет.

— Ты должен слушаться!

— Нет. Если вы не скажете мне, что вы тут делаете, я закричу и ваш сообщник подумает, что вы не смогли сохранить тайну.

— Но ведь это же шантаж, Жозеф.

В эту минуту в дверь постучали. Я умолк. Священник открыл дверь, высунул голову наружу и после краткого разговора забрал свой мешок.

Когда тайный поставщик удалился, я заключил:

— Вот видите, я молчал. Я за вас, а не против вас.

— Я терпеть не могу шпионов, Жозеф.

Облако отпустило луну на волю, и в помещение проник голубоватый свет, от которого наши лица

сделались замазочно-серыми. Внезапно священник показался мне слишком высоким, слишком тощим, этаким вопросительным знаком, начертанным углем на стене, — словом, почти карикатурой на злобного еврея, вроде тех, что нацисты расклеивали на стенах домов в нашем квартале, с глазами, вселявшими тревогу, потому что они были живыми. И тут он улыбнулся:

— Ладно, пошли.

Он взял меня за руку и повел в левый придел часовни, где сдвинул лежавший на полу потертый коврик, задубевший от грязи. Под ковриком оказалось кольцо; священник потянул за него, и одна из плит подалась. В черные недра земли уходили ступеньки. На самой верхней из них ждала масляная лампа Священник зажег ее и стал медленно погружаться в темный зев подземелья, сделав мне знак следовать за ним.

— Что, по-твоему, может находиться под церковью? А, малыш?

— Погреб?

— Крипта.

Мы добрались до самых нижних ступенек. Из глубины тянуло свежим грибным духом. Может, это и было дыхание земли?

— И что же, по-твоему, может быть у меня в

крипте?

— Не знаю.

— Синагога.

Он зажег несколько свечей, и я смог разглядеть подпольную синагогу, которую устроил священник. Под покровом из дорогой, богато расшитой ткани хранился свиток Торы,[5] длинный пергамент, испещренный священными письменами. Открытка с видом Иерусалима указывала, в какую сторону надо поворачиваться во время молитвы, потому что молитвы доходят до Бога только через этот город.

А позади, на полках, громоздились груды разных предметов.

— Что это?

— Моя коллекция.

Он указал на книги с молитвами, мистическими стихами и комментариями раввинов. Там же стояли подсвечники на семь и девять свечей. Рядом с граммофоном виднелась стопка черных восковых лепешек.

— Что это за пластинки?

— Молитвенная музыка, песнопения на идиш. А знаешь ли ты, друг мой Жозеф, кто был первым

---

[5] Примечания: 5

Тора — еврейское название Пятикнижия.

в человеческой истории коллекционером?

— Нет!

— Это был Ной.

— Не слыхал про такого.

— Давным-давно на землю обрушились бесконечные дожди. Вода пробивала крыши, ломала стены, сносила мосты, затопляла дороги, вздувала реки и моря. Ужасные наводнения уничтожали деревни и даже целые города. Уцелевшие люди укрывались высоко в горах, которые сначала были надежным убежищем, но потом под воздействием воды треснули и раскололись на куски. Тогда один человек по имени Ной понял, что еще немного — и вся наша планета полностью скроется под водой. И стал собирать коллекцию. С помощью своих сыновей и дочерей он постарался отыскать самца и самку всех живых существ — лиса и лисицу, тигра и тигрицу, петуха и курицу, пару пауков, пару страусов, пару змей… Он пренебрег лишь рыбами и морскими млекопитающими, потому что они и так вовсю размножались в прибывающем океане. Одновременно он построил огромный корабль, и, когда вода добралась до места, где он жил, Ной погрузил на свой корабль всех людей и животных, которые еще остались на земле. Много месяцев Ноев

ковчег плавал безо всякой цели по поверхности безбрежного моря, которое поглотило землю. А потом дожди прекратились. Вода понемногу схлынула. Ной опасался, что не сможет прокормить всех обитателей своего ковчега. Он отпустил голубку, которая улетела и вернулась, принеся в клюве свежий оливковый листик, и стало ясно, что горные кряжи наконец-то вновь показались над водами. И Ной понял, что его невероятная затея удалась: он спас все Божии творения!

— А почему же Бог не спас их сам? Ему что, все равно? Или Он был в отпуске?

— Бог сотворил мир раз и навсегда. Он дал нам инстинкт и разум, чтобы впредь мы могли обходиться без Него.

— И вы берете пример с Ноя?

— Да. Я, подобно ему, коллекционирую. В детстве мне пришлось жить в Бельгийском Конго, где служил мой отец. Белые там настолько презирали негров, что я принялся собирать коллекцию предметов туземного быта.

— И где она сейчас?

— В Намюрском музее. Сегодня благодаря художникам так называемое «негритянское искусство» вошло в моду. А я теперь собираю две коллекции: цыганскую и еврейскую. В общем,

все то, что хочет уничтожить Гитлер.

— А не лучше ли уничтожить самого Гитлера?

Не отвечая на мой вопрос, он подвел меня к стопке книг:

— Каждый вечер я ухожу сюда, чтобы поразмыслить над еврейскими книгами. А днем у себя в кабинете изучаю иврит. Ведь никогда не предугадаешь…

— Чего не предугадаешь?…

— Если потоп еще продлится и в мире больше не останется ни одного еврея, говорящего на иврите, я смогу научить тебя этому языку. А ты передашь его другим.

Я кивнул. Учитывая поздний час, фантастический декор крипты, этой пещеры Али-Бабы, которая раскачивалась в колеблющемся пламени свечей, происходящее казалось мне скорее игрой, нежели реальностью. Я с горячностью воскликнул, и голос мой зазвенел под гулким сводом крипты:

— Тогда все скажут, что вы Ной, а я — ваш сын!

Взволнованный, отец Понс опустился передо мной на колени. Я чувствовал, что он хочет меня расцеловать, но не решается. Мне было хорошо.

— Давай заключим такой уговор, Жозеф: ты будешь делать вид, что ты христианин, а я бу-

ду делать вид, что я еврей. Ты будешь ходить к обедне, повторять катехизис, учить историю Иисуса по Новому Завету; я же буду рассказывать тебе Тору, Мишну,[6] Талмуд, и мы вместе будем учиться писать ивритские буквы. Ты согласен?

— Еще бы!

— Это будет нашей тайной, величайшей из всех тайн. Если кто-нибудь из нас проболтается, мы оба можем погибнуть. Клянешься молчать?

— Клянусь!

Я воспроизвел замысловатое телодвижение, посредством которого Руди научил меня клясться, и плюнул на землю.

С этой ночи мне было позволено вести подпольную, двойную жизнь вместе с отцом Понсом. Я утаил от Руди свою ночную вылазку и устроил так, чтобы он поменьше интересовался поведением священника: я переключил его внимание на белокурую Розу, красивую шестнадцатилетнюю девушку, которая помогала эконому на кухне. Я уверял Руди, что она пялится на него всякий раз, как он не смотрит в ее сторону. Руди очертя

[6] Примечания: 6

Мишна (евр.) — «устное предание», свод из 63 религиозных трактатов иудаизма, которые истолковывают Тору (II–III вв.). Мишна и комментарии к ней — Гемара (IV–VI вв.) — составляют Талмуд, одно из основополагающих произведений иудаизма.

голову ринулся в расставленные мною сети и совершенно помешался на Розе. Он обожал вздыхать о несбыточной любви.

Тем временем я изучал иврит с его двадцатью двумя согласными и двенадцатью гласными, а главное — постигал, под покровом официальной видимости, истинные правила, по которым жил наш пансион. Отец Понс так хитро составил недельное расписание занятий, что мы фактически соблюдали шаббат — по субботам мы непременно отдыхали. Выполнять домашние задания и учить уроки мы могли только в воскресенье, после вечерни.

— У евреев неделя начинается в воскресенье, а у христиан — в понедельник.

— Почему так, отец мой?

— В Библии, которую, кстати, обязаны знать и евреи, и христиане, говорится, что Бог, когда сотворял мир, трудился шесть дней, а на седьмой отдыхал. Мы должны поступать, как Он. Евреи считают, что седьмой день — это суббота. Впоследствии христиане, чтобы отличаться от евреев, потому что евреи не хотели признать Иисуса Мессией, стали утверждать, что день отдыха — воскресенье.

— И кто же прав?

— Какая разница?

— Неужто Бог не может толком объяснить людям, что Он сам об этом думает?

— Важно не то, что думает об этом Бог, а то, что думаем об этом мы.

— Угу… Короче говоря, Бог отпахал свои шесть дней, а дальше, мол, сами выкручивайтесь как знаете!

Всякий раз, когда я возмущался, отец Понс хохотал от души. Я постоянно пытался сгладить различия между обеими религиями, чтобы свести их к чему-то единому; с не меньшим постоянством священник не давал мне упрощать ситуацию.

— Жозеф, ты хочешь знать, какая из двух религий истинная? Да ни одна из них! Религия не бывает ни истинной, ни ложной, она просто предлагает определенный образ жизни.

— Как же это, интересно, я должен уважать эти религии, если ни одна из них не истинная?

— Если ты готов уважать только истину, то лишь немногое в этой жизни удостоится твоего уважения! Дважды два — четыре, вот и все, что ты будешь уважать. Помимо этого, тебе придется иметь дело с весьма зыбкими понятиями, такими как чувства, нормы поведения, моральные

ценности, проблема выбора, а все это хрупко и изменчиво. Ничего математического. Уважение направляется не на то, что проверено и доказано, а на то, что предложено.

В декабре отец Понс вел свою двойную игру таким образом, чтобы мы могли одновременно отпраздновать христианское Рождество и еврейскую Хануку, причем заметить эту двойственность могли только еврейские дети. С одной стороны, мы отмечали день рождения Иисуса, украшали деревенский вертеп и ходили в церковь на праздничные службы. С другой стороны, мы должны были работать в свечной мастерской, где учились вить фитили, плавить воск, окрашивать его, отливать свечи, а вечером зажигали собственноручно изготовленные свечи и выставляли их в окнах; таким образом, дети-христиане были вознаграждены за свои дневные труды, а мы, еврейские дети, могли незаметно исполнять ритуал Хануки, праздника Светильников, когда все играют, делают подарки и когда надо давать милостыню и с наступлением сумерек зажигать фитильки. «Мы, еврейские дети…» Сколько же нас было на Желтой Вилле? И кто именно? Кроме отца Понса, этого не знал никто. Когда у меня зарождалось подозрение относительно кого-ни-

будь из товарищей, я запрещал себе что-либо выяснять. Сам врешь — не мешай врать другим. В этом было наше общее спасение.

В 1943 году полиция несколько раз наведывалась на Желтую Виллу. Обычно проверяли документы в одном из классов. Настоящие или фальшивые, наши бумаги выдерживали испытание. Регулярные обыски наших шкафов не давали никаких результатов. Никто так и не был арестован.

Однако же отец Понс нервничал:

— Пока что нас проверяла только здешняя полиция, бельгийская, а этих ребят я знаю, если не их самих, так их родителей; когда они видят меня, то не решаются слишком уж усердствовать. Но мне говорили, что иногда и гестапо устраивает неожиданные облавы…

И все же после очередной тревоги жизнь неизменно возвращалась в привычное русло. Мы питались мало и плохо: каштаны, картошка, жидкий суп с плавающими в нем редкими кусочками брюквы и горячее молоко на десерт. Когда почтальон приносил посылку кому-нибудь из мальчиков в пансионе, шкафчик счастливчика обыкновенно взламывали: так нам иногда доставалась коробка печенья, баночка варенья или

меда, и все это следовало проглотить как можно скорее, покуда добычу не украл кто-нибудь другой.

Однажды весной, когда отец Понс, как обычно, запершись на два оборота, давал мне урок иврита в своем кабинете, я заметил, что он никак не может сосредоточиться. Наморщив лоб, он словно вовсе не слышал моих вопросов.

— Что это с вами, отец мой?

— Скоро время первого причастия, Жозеф. Мне тревожно. Невозможно допустить, чтобы еврейские мальчики, достигшие нужного возраста, получили первое причастие вместе с христианами. Я просто не имею права. Ни по отношению к ним, ни по отношению к моей религии. Это святотатство. Как же мне быть?

Я и секунды не колебался:

— А вы спросите у мадемуазель Марсель.

— При чем здесь мадемуазель Марсель?

— Уж если кто и приложит все усилия, чтобы помешать причастию, так это Черт-Побери. Разве не так?

Мое рассуждение заставило его улыбнуться. На другой день мне было позволено сопровождать отца Понса в шемлейскую аптеку.

— Какой он славный, этот мальчишка, — про-

бурчала мадемуазель Марсель, завидев меня. — На, лови!

И бросила мне медовую пастилку. Пока мои зубы сражались с этим лакомством, отец Понс изложил аптекарше ситуацию.

— Черт побери, господин Понс, можете не беспокоиться. Я вам подсоблю. Сколько их у вас?

— Двенадцать.

— Можете объявить, что они захворали. Хоп! И всю дюжину назначенных на процедуру — в лазарет.

Священник призадумался:

— Их отсутствие будет замечено. Оно-то их и может выдать.

— Только не в случае эпидемии…

— Даже и в этом случае. Люди могут что-то заподозрить.

— Значит, надо к ним добавить пару мальчишек, которые вне всяких подозрений. Ну вот, к примеру, хотя бы сына бургомистра. Или, еще того лучше, сына этих идиотов Броньяров, которые выставили фотографию Гитлера в витрине своей молочной лавки.

— Разумеется! И все же чтобы четырнадцать мальчиков разом заболели…

— Та-та-та, уж это моя забота…

Как Черт-Побери это устроила? Под предлогом медицинского осмотра она явилась в наш лазарет и обследовала мальчиков, которым предстояло причастие. Два дня спустя у сына бургомистра и Броньяра-младшего разыгрался такой страшный понос, что они не смогли явиться на занятия. Черт-Побери подробнейшим образом описала симптомы болезни отцу Понсу, а он, в свою очередь, изложил и велел их тщательно симулировать двенадцати еврейским «причастникам».

И так как причастие было назначено на следующий день, всю дюжину лжебольных отправили на трое суток в лазарет.

Церемония состоялась в шемлейской церкви — торжественная служба, в ходе которой орган гремел еще громче, чем обычно. Я ужасно завидовал моим товарищам в их белых одеждах, принимающим участие в таком прекрасном спектакле. В душе я дал себе слово, что в один прекрасный день тоже окажусь на их месте. Отец Понс мог сколько угодно обучать меня Торе, — все равно ничто не трогало меня сильнее, чем католические обряды с их золотом, роскошью, музыкой и этим Богом, беспредельным и воздушным, доброжелательно обретавшимся на потолке.

Возвратившись на Желтую Виллу, где нас ждал более чем скудный банкет, показавшийся нам тем не менее достойным самого Пантагрюэля — так мы все изголодались, — я с изумлением обнаружил в вестибюле мадемуазель Марсель. Едва увидев ее, отец Понс немедленно затворился с нею в своем кабинете.

В тот же вечер он рассказал мне, какая катастрофа чуть было не обрушилась на нас.

Во время причастия гестапо устроило налет на наш пансион. Нацисты, без сомнения, рассуждали так же, как отец Понс: отсутствие на церемонии детей, которым по возрасту полагалось там находиться, выдавало их с головой.

К великому счастью, мадемуазель Марсель караулила перед лазаретом. Когда нацисты, не застав никого в дортуарах, поднялись на последний этаж, она принялась кашлять и отхаркиваться, по ее собственным словам, «омерзительнейшим образом». Зная, какое впечатление производила на людей уродина Черт-Побери в своем обычном состоянии, невозможно было не содрогнуться, представив, как она еще и кривляется. Нимало не противясь их требованиям, она отперла нацистам двери лазарета, предупредив, однако, что болезнь у мальчишек ужасно заразная. Не

довольствуясь одними словами, она присовокупила к ним такое безудержное чиханье, что нацистские физиономии оказались сплошь оплеванными.

Испуганно утирая лица, гестаповцы поспешно попятились и покинули пансион. После того как черные машины уехали, мадемуазель Марсель битых два часа провалялась на одной из лазаретных коек, корчась от хохота, что, по словам ребят, поначалу внушало ужас, но потом оказалось заразительным.

Хотя отец Понс не показывал виду, я чувствовал, что он все более и более встревожен.

— Я боюсь телесного осмотра, Жозеф. Что я смогу сделать, если нацисты заставят вас раздеться, чтобы посмотреть, нет ли среди вас обрезанных?

Я кивнул, скорчив при этом гримасу в знак того, что разделяю его опасения. На самом же деле я совершенно не понял, о чем он говорил. Какие еще обрезанные? Руди, которого я попытался расспросить, принялся хихикать, да еще с подвизгиваньем, какое обычно издавал, если речь шла о красотке Розе, и которое звучало так, словно он колотил себя в грудь мешком с орехами.

— Ты шутишь! Ты что, правда не знаешь, что такое обрезание? А что тебе его сделали, хоть это

ты знаешь?

— Да что мне сделали-то?

— Обрезание, вот что!

Мне не нравился оборот, который принимал наш разговор: оказывается, у меня опять обнаружилась какая-то особенность, не зависящая от моей воли! Как будто недостаточно просто быть евреем!

— У тебя на пипиське есть кожица, которая не доходит до самого конца?

— Само собой!

— Ну так вот, а у христиан она доходит до конца и свисает, и у них круглая головка не видна!

— Как у собак?

— Да. Точь-в-точь как у собак.

— Тогда, получается, правда, что мы относимся к другой расе!

Эта новость меня просто подкосила: все мои надежды стать христианином улетучивались. Из-за какого-то клочка кожи, которого никто и не видит, я был обречен навсегда оставаться евреем.

— Да нет же, дурак, — продолжал Руди, — это ведь не от природы так, а в результате хирургического вмешательства: тебе это сделали через несколько дней после твоего рождения. Это раввин тебе обрезал кожицу.

— Зачем?

— Чтобы ты был как твой отец.

— Зачем?

— Затем, что так делается уже тысячи лет!

Это открытие потрясло меня. В тот же вечер, уединившись, я в течение долгих минут изучал свой покрытый нежной, розовой кожей отросток, причем совершенно безрезультатно: мне нипочем не удавалось вообразить, что он мог бы выглядеть как-то иначе. В последующие дни, чтобы убедиться в правдивости слов Руди, я то и дело задерживался в туалете на дворе, тратя драгоценные минуты переменок на повторное, уже неизвестно в который раз, мытье рук и кося взглядом в сторону писсуаров, где мои товарищи вынимали из штанов и вкладывали обратно свои причиндалы. И довольно скоро мне пришлось убедиться, что Руди вовсе не лгал.

— Руди, но ведь это же нелепо! У христиан на кончике остается тоненькая кожица, стянутая и сморщенная, как у надувного шарика в том месте, где завязывается узел! И это еще не все: им нужно больше времени, чем нам, чтобы пописать, они же потом еще трясут свою пипиську, как будто сердятся! Они что, наказывают себя?

— Нет, они просто стряхивают капли, прежде

чем закрыть головку. Им труднее, чем нам, соблюдать чистоту. Если они не поостерегутся, то могут подхватить кучу вонючих микробов, от которых потом будет больно.

— И после этого нас же еще преследуют?! Ты что-нибудь понимаешь в этой жизни?

Зато теперь мне стало понятно, о чем тревожился отец Понс. До меня только сейчас дошло, по каким незримым формулам был организован еженедельный банный день: священник составлял списки, которые сам же и перепроверял, устраивая перекличку, и десять мальчиков разного возраста нагишом бежали из раздевалки в душевую под его и только его самоличным наблюдением. Каждая группа была однородна. Ни разу христианский мальчик не оказывался в одной группе с еврейскими, и наоборот, а во всех прочих местах нагота воспрещалась и наказывалась. И отныне я уже мог без труда определить, кого прятали от нацистов на Желтой Вилле. С этого дня я стал принимать меры предосторожности и взял за правило облегчать свой мочевой пузырь за закрытой на задвижку дверцей кабинки, избегая открытых писсуаров. Я даже пытался исправить последствия операции, причинившей мне такое увечье: я посвящал моменты уедине-

ния манипуляциям с кожицей, чтобы она обрела свой изначальный вид и покрыла головку моей пипки. Тщетно! Как я ни пытался ее растянуть, она всякий раз неумолимо возвращалась на место, и мое ежедневное упорство так и не привело хоть к малейшему прогрессу.

— Жозеф, что делать, если гестаповцы велят вам раздеться?

Почему отец Понс выбрал себе в наперсники самого маленького из своих пансионеров? Считал ли он меня более храбрым, чем остальные? Или испытывал потребность поговорить хоть с кем-нибудь? Страдал ли от необходимости нести в одиночку бремя столь мучительной ответственности?

— А, Жозеф? Что, если гестаповцы заставят вас снять штаны?

Ответ на этот вопрос чуть было не погубил нас всех в августе 1943 года. Школа закрывалась, и Желтая Вилла превращалась в летний лагерь отдыха. Те из нас, у кого не было приемной семьи, оставались жить в пансионе до начала нового учебного года. И чувствовали себя не столько покинутыми сиротами, сколько, наоборот, наследными принцами: Желтая Вилла принадлежала нам безраздельно, время года изобиловало

фруктами, которые слегка утишали наше постоянное чувство голода. Отец Понс, которому помогали несколько молоденьких семинаристов, посвящал нам все свое время. Прогулки чередовались с походными кострами, футболом и фильмами Чарли Чаплина, которые мы смотрели с наступлением темноты на белой простыне, натянутой вертикально во дворе Желтой Виллы. Держась чуть настороже с нашими надзирателями, мы могли не таиться друг перед другом: все мы были евреями. Стоило видеть, какое рвение, из благодарности к отцу Понсу, проявляли мы к единственным занятиям, не прекращавшимся и во время каникул, — урокам катехизиса, с каким энтузиазмом пели в церкви и с каким опьянением, если утро было дождливое, сооружали вертеп и мастерили кукол к следующему Рождеству.

Однажды, когда, всласть набегавшись с футбольным мячом, игроки вспотели насквозь, отец Понс распорядился немедленно идти в душевую.

Первыми помылись старшие, потом средняя группа, и теперь оставались только младшие, среди которых находился и я.

Десятка два детей вопили и резвились под свежими струями воды, когда в раздевалку вошел немецкий офицер.

Дети окаменели, голоса смолкли, а отец Понс стал белее кафеля. Замерло все, кроме струй воды, которые продолжали весело и беспечно низвергаться на нас.

Офицер смерил нас взглядом. Некоторые инстинктивно прикрыли ладонями причинные места, но этот жест естественной стыдливости слишком запоздал, чтобы не превратиться в признание.

Вода лилась. Молчание крупными каплями стекало по стенам.

Офицер понял, кто мы такие. Его сузившиеся глаза говорили о том, что он размышляет. Отец Понс шагнул вперед и дрогнувшим голосом спросил:

— Что вам угодно?

Офицер изложил положение вещей по-французски. С самого утра его люди преследовали партизана, который, спасаясь, перемахнул через ограду нашего парка; поэтому теперь его люди ищут, где мог бы спрятаться беглец.

— Как видите, вашему беглецу здесь никак не спрятаться, — сказал отец Понс.

— В самом деле, — медленно отвечал офицер, — это я очень хорошо вижу.

Вновь воцарилось молчание, набухшее стра-

хом и угрозой. Я осознал, что мое существование вот-вот прекратится. Еще несколько мгновений — и мы выйдем отсюда, построенные колонной, голые, униженные, нас загонят в грузовик и увезут неизвестно куда.

Снаружи послышались шаги. Топот сапог. Звонкий стук подков по булыжнику. Гортанные крики.

Офицер в серо-зеленом мундире быстро подошел к двери и приоткрыл ее:

— Его здесь нет. Ищите дальше. Schnell![7]

Дверь захлопнулась, шаги удалились.

Офицер взглянул на отца Понса. Губы священника тряслись. Кто-то из детей заплакал. У меня стучали зубы.

Сперва мне показалось, что офицер вынимает из кобуры пистолет. Но он всего лишь достал из заднего кармана бумажник.

— Возьмите, — сказал он, протягивая банкноту отцу Понсу. — Купите этим детям конфет.

И поскольку остолбеневший отец Понс никак не реагировал, офицер чуть ли не силой сунул ему в руку пятифранковый билет, улыбнулся нам, подмигнул, щелкнул каблуками и исчез.

---

[7] Примечания: 7
Быстро! (нем.).

Сколько времени еще продолжалось наше оцепенение после его ухода? Сколько минут понадобилось нам, чтобы осознать, что мы спасены? Одни продолжали всхлипывать, потому что испуг все не проходил, другие пребывали в столбняке от изумления, третьи, выпучив глаза, уставились друг на друга, не в силах поверить в то, что произошло.

И вдруг отец Понс, с восковым лицом и побелевшими губами, рухнул на колени. Он раскачивался взад и вперед на мокром цементном полу, бормоча что-то нечленораздельное и устремив глаза в одну точку. Это было страшно. Я кинулся к нему и прижал его голову к своему мокрому телу, словно пытаясь его защитить, словно это был Руди.

И тут я услышал, что он без конца повторяет:

— Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Спасибо за моих детей.

Потом он повернулся ко мне, словно только сейчас обнаружил мое присутствие, и, более не сдерживаясь, разрыдался в моих объятиях.

Иные потрясения оказываются настолько мощными, что ломают нас, независимо от того, счастливые они или наоборот. Реакция отца Понса поразила нас так, что спустя несколько минут, словно заразившись, двенадцать голых, в чем

мать родила, еврейских мальчиков и священник в сутане, прижавшись друг к другу, мокрые и взъерошенные, смеялись и плакали разом.

Всепроникающее чувство радости царило среди нас во все последующие дни. Улыбка не покидала уст отца Понса. Он признался мне, что в счастливой развязке происшествия почерпнул новые силы для своей веры.

— Вы и впрямь думаете, что это Бог нам помог, отец мой?

Я использовал наши уроки иврита, чтобы задавать вопросы, не дававшие мне покоя. Священник благодушно посмотрел на меня:

— Откровенно говоря, нет, дружок мой Жозеф. Бог в эти дела не вмешивается. После того, что сделал этот немецкий офицер, я чувствую себя прекрасно потому, что стал снова обретать веру в человека.

— А я думаю, это благодаря вам. Вы у Бога на хорошем счету.

— Не говори ерунды.

— Вы не думаете, что, если человек ведет себя благочестиво, будь он хорошим евреем или хорошим христианином, с ним ничего плохого случиться не может?

— Откуда ты взял подобную чушь?

— Из катехизиса. Отец Бонифаций…

— Стоп! Опаснейшая благоглупость! Люди сами причиняют друг другу зло, и Бог тут совершенно ни при чем. Он сотворил людей свободными. А это значит, что мы радуемся или страдаем независимо от наших достоинств или недостатков. Какую жуткую роль ты хочешь отвести Богу! Неужто ты можешь хоть на миг допустить, что тех, кому удалось спастись от нацистов, Бог любит, а тех, кому не удалось, — ненавидит? Нет, Бог не вмешивается в наши дела!

— Вы хотите сказать, что, как бы оно тут ни обернулось, Богу на это наплевать?

— Я хочу сказать, что, как бы оно тут ни обернулось, Бог свою работу завершил. И теперь наша очередь. Мы должны позаботиться о себе сами.

Начался второй учебный год. Мы с Руди сближались все больше и больше. Именно потому, что мы с ним разнились всем — возрастом, ростом, заботами, повадкой, — каждое из наших различий не только не разделяло нас, но напротив, давало почувствовать, как же мы любим друг друга. Я помогал ему разобраться в его собственных путаных мыслях; он же, своими внушительными габаритами, а еще больше — своей репутацией двоечника защищал меня от драчунов. «С ним

ничего невозможно поделать, — говорили наши учителя, — в жизни не встречали более твердолобого ученика!» Столь полная непроницаемость Руди для знаний вызывала наше восхищение. С нами-то учителям всегда удавалось что-то «поделать», и это выдавало нашу гнусную сущность, испорченность натуры и подозрительную готовность к компромиссу. От Руди они не могли добиться ничего. Сопротивление учителям со стороны этого совершенного остолопа чистейшей воды, беспримесного и неподкупного, достигало абсолюта. Он превратился в истинного героя другой, нашей войны — учеников с учителями. Дисциплинарные наказания сыпались на него в таком изобилии, что его тупая взъерошенная голова обрела еще одно отличие — ореол мученика.

Однажды после обеда, когда он за что-то опять сидел взаперти, я, просовывая ему в окно украденный кусок хлеба, спросил, почему, даже будучи наказанным, он остается все таким же добрым — и в то же время непоколебимым в своем нежелании учиться. Вот тут-то он мне все и выложил:

— Нас было семь человек в семье: родители и пятеро детей. Все умники, кроме меня. Отец адвокат, мать пианистка, концертировала с лучшими

оркестрами; братья и сестры все с дипломами. Короче говоря, одни мозги… И всех забрали! Посадили в грузовик и увезли! Они просто не верили, что такое может с ними случиться, вот и не прятались. Такие умные, почтенные люди. А я спасся только потому, что меня не оказалось ни в школе, ни дома! Я шлялся по улицам. И спасся именно потому, что шлялся… Ну ее, эту учебу…

— По-твоему, значит, я зря учу уроки?

— Нет, Жозеф, ты — нет. Во-первых, у тебя способности, а во-вторых, у тебя еще вся жизнь впереди…

— Руди, тебе всего шестнадцать!

— Ну да, поздновато уже учиться…

Он мог не продолжать: я понимал, что он тоже был в ярости на своих домашних. Даже исчезнув, даже не отвечая на наш мысленный зов, наши родители все равно как-то участвовали в нашей жизни на Желтой Вилле. Как же я злился на них! Злился за то, что был евреем, за то, что это они меня сделали евреем, за то, что подвергли нас опасности. Безответственная пара! Отец? Бездарь. Мать? Жертва. Жертва своего замужества, потому что вышла замуж за отца, не разглядев его бездонной слабости, жертва собственной женской нежности и преданности. Презирая мать, я все-та-

ки прощал ее, ибо по-прежнему, несмотря ни на что, ее любил. Зато по отношению к отцу у меня выработалась стойкая ненависть. Он вынудил меня быть его сыном, хотя не мог обеспечить мне достойную участь. Ну почему я не был сыном отца Понса?

Как-то раз, в ноябре 1943-го, мы с Руди, взобравшись на ветку раскидистого старого дуба, откуда открывался вид на бескрайние поля, выискивали дупла, где зимуют белки. Наши ноги, болтаясь, касались высокой стены, окружавшей парк; стоило нам захотеть, мы могли бы выбраться наружу — спрыгнуть прямиком на тропинку, которая вилась вдоль стены, и убежать. Только куда? Нигде мы не были бы в большей безопасности, чем на Желтой Вилле. В своих похождениях мы никогда не стремились за ограду. Руди вскарабкался выше, а я остался сидеть на первой развилке ствола, и оттуда мне показалось, что я вижу отца.

Внизу по дороге двигался трактор. Он должен был проехать совсем близко. За рулем сидел мужчина. И хотя он был без бороды и одет по-крестьянски, не узнать его было просто невозможно. Я его и узнал.

На меня напал столбняк. Я не желал этой встречи. «Только бы он меня не увидел!» Я затаил

дыхание. Трактор протарахтел под нашим деревом, направляясь в долину. «Пронесло, он меня не видел!» А ведь он был всего лишь метрах в десяти, и я еще мог окликнуть, догнать его.

С пересохшим ртом, затаив дыхание, я дожидался, пока трактор не скроется из виду и треск мотора не стихнет совсем. Когда это произошло, я вновь ожил: перевел дух, заморгал, встряхнулся. Руди почуял мое волнение.

— Что с тобой?

— Кажется, я узнал человека, который сидел на тракторе.

— И кто это?

— Мой отец.

— Бедненький Жозеф, это же невозможно!

Я тряхнул головой, чтобы отогнать идиотские мысли.

— Само собой, невозможно…

Мне очень хотелось, чтобы Руди меня пожалел, и я скорчил гримасу огорченного ребенка. На самом же деле я был рад избежать встречи с отцом. Да и он ли это был? Руди наверняка прав. Не могли же мы, живя в нескольких километрах друг от друга, даже не подозревать об этом? Чепуха! К вечеру я уже был убежден, что мне почудилось. И стер этот эпизод из памяти.

Несколькими годами позже выяснилось, что на тракторе тогда действительно ехал мой отец. Отец, которого я отвергал, желая, чтобы он был далеко, не здесь, чтобы его вообще больше не было…

Когда мы с отцом Понсом вновь оказались в его подпольной синагоге, священник сообщил последние военные новости.

— Я думаю, что теперь, когда немцы увязли в России, а американцы готовы вступить в войну, Гитлер проиграет. Но вот какова будет цена? Здесь нацисты все больше бесятся, они ловят партизан с невиданной яростью, это энергия отчаяния. Мне очень страшно за нас, Жозеф, очень страшно.

Он чуял в воздухе опасность, подобно тому как собаки чуют волка.

— Не бойтесь, отец мой, все обойдется. Давайте работать дальше.

С отцом Понсом, так же как и с Руди, я стремился брать покровительственный тон. Я так любил их обоих, что выказывал неколебимый, твердокаменный оптимизм, только бы они не поддавались тревоге.

— Растолкуйте-ка мне лучше разницу между евреем и христианином.

— Евреи, а точнее сказать иудеи, и христиане веруют в одного и того же Бога, который дал Моисею скрижали Завета. Однако иудеи не признали в Иисусе обещанного Мессию, посланца Божия, на которого они уповали, — для них он был лишь очередным еврейским мудрецом. Христианином ты становишься в том случае, если полагаешь, что Иисус действительно Сын Божий, что Бог воплотился в нем, умер и воскрес.

— То есть для христиан все уже произошло, а для евреев еще только должно произойти.

— Вот именно, Жозеф. Христиане — это те, кто вспоминает, а евреи — те, кто еще надеется.

— Получается, что христианин — это еврей, который перестал ждать?

— Да. А еврей — это христианин до Иисуса.

Мне казалось очень забавным считать себя «христианином до Иисуса». Изучаемая в столь различных формах — католического катехизиса и тайного приобщения к Торе, священная история куда больше будоражила мое воображение, чем детские сказки, которые я брал в библиотеке: она была более ощутимой, более близкой, более конкретной. В конце концов, ведь речь там шла о моих предках — Моисее, Аврааме, Давиде, Иоанне Крестителе или Иисусе! В моих жилах наверняка

текла кровь кого-нибудь из них. К тому же их жизнь не была пресной и бесцветной, она была вроде моей: они дрались, кричали, плакали, пели и каждое мгновение могли погибнуть!

Единственное, в чем я не осмеливался признаться отцу Понсу, — что я и его включил в эту историю. Я просто не мог представить себе моющего руки римского наместника Понтия Пилата с лицом иным, чем у нашего священника:[8] мне казалось совершенно естественным, чтобы отец Понс был там, в Евангелиях, подле Иисуса, среди всех этих евреев и будущих христиан — растерянный посредник, честный человек, не способный сделать выбор.

Я чувствовал, что отец Понс смущен изучением текстов, за которые он взялся ради меня. Как и многие католики, прежде он был знаком с Ветхим Заветом весьма поверхностно и теперь открывал его для себя с восторгом, равно как и некоторые толкования к нему, сделанные учеными раввинами.

— Ты знаешь, Жозеф, иной раз я задаюсь вопросом, не лучше ли было мне оказаться иудеем, — говорил он мне с блестящими от возбуждения

---

[8] Примечания: 8
«Понтий» по-французски — «Понс» (Ponce).

глазами.

— Нет уж, отец мой, оставайтесь-ка лучше христианином, вы сами не понимаете своего счастья.

— Иудейская религия настаивает на уважении, в то время как христианская — на любви. Вот я думаю: не является ли уважение чувством более основательным, нежели любовь? И вдобавок более реальным… Любить своего врага, как предлагает Иисус и, получив пощечину, подставлять другую щеку — это, конечно, восхитительно, но не применимо на практике. Особенно в наше время. Ты бы, например, подставил Гитлеру другую щеку?

— Еще чего!

— Вот и я тоже! Верно и то, что я недостоин Христа. Всей моей жизни было бы недостаточно, чтобы уподобиться Ему… И, однако же, может ли любовь быть долгом? Можно ли приказать своему сердцу? Не думаю. А вот по мнению великих раввинов, уважение превыше любви. И уважение является постоянной обязанностью. Вот это уже кажется мне возможным. Я могу уважать тех, кого не люблю, или тех, кто мне безразличен. Но любить их?… И к тому же есть ли необходимость в том, чтобы я их любил, если я их уважаю? Любить

— это трудно, любовь нельзя вызвать по заказу, ее нельзя ни контролировать, ни продлить усилием воли. Тогда как уважение…

Он задумчиво поскреб свою сияющую лысину:

— Я вот думаю: уж не являемся ли мы, христиане, всего лишь сентиментальными евреями…

Так и шла моя жизнь, состоявшая из учебы, высоких рассуждений о Библии, страха перед нацистами, внезапных появлений и столь же внезапных исчезновений партизан, все более и более многочисленных и дерзких; из игр с товарищами и прогулок с Руди. Английские бомбардировщики не пощадили Шемлея, но Желтая Вилла не пострадала — наверняка потому, что находилась далеко от железнодорожного вокзала, а главное — потому, что отец Понс позаботился прикрепить к нашему громоотводу флаг с эмблемой Красного Креста. Трудно поверить, но я любил воздушные тревоги: мы с Руди никогда не спускались в убежище вместе с другими ребятами, а наоборот, забравшись на крышу, наблюдали за этим захватывающим зрелищем. Самолеты Королевских Воздушных Сил проносились так низко, что нам удавалось разглядеть лица пилотов, которым мы приветственно махали руками.

В военное время худшей из опасностей стано-

вится привычка. Особенно привычка к самой опасности.

В Шемлее десятки людей втайне пренебрегали правилами, которые были установлены нацистскими оккупантами, и постепенно приучились недооценивать врага, поэтому известие о высадке союзников в Нормандии обошлось нам дорого.

Когда мы услышали о том, что многочисленные и хорошо вооруженные американские войска высадились на континент, эта новость нас опьянила. И хотя мы были вынуждены молчать, счастливые улыбки буквально распирали наши лица. Отец Понс ходил словно Иисус по водам, не касаясь подошвами земли, и чело его лучилось радостью.

В то воскресенье мы просто сгорали от нетерпения поскорее отправиться к мессе, чтобы разделить, хотя бы взглядами, свой восторг по поводу этой почти что победы с обитателями поселка. Все ребята выстроились во дворе на четверть часа раньше назначенного времени.

По дороге нам весело подмигивали разряженные по-воскресному крестьяне. Одна женщина протянула мне шоколадку. Другая сунула мне в руку апельсин. Третья затолкала мне в карман кусок пирога.

— Почему вечно все Жозефу? — проворчал один из мальчиков.

— Потому что он у нас красавчик! — издали крикнул Руди.

Все это было очень кстати: в животе у меня вечно урчало от голода, тем более что я быстро рос.

Я с нетерпением ожидал момента, когда мы будем проходить мимо аптеки, не сомневаясь в том, что мадемуазель Марсель, которая вместе с отцом Понсом спасла стольких детей, будет сиять от счастья. Может, на радостях она даже бросит мне несколько леденцов?

Но витрину аптеки наглухо закрывала металлическая шторка.

Наша группа первой добралась до главной площади, и тут школьники и крестьяне как вкопанные разом остановились перед церковью.

Из зияющего портала грозно раздавались воинственные звуки органа, игравшего во всю свою мощь. Я с изумлением узнал мелодию: это была «Уроженка Брабанта»![9]

Толпа просто оцепенела. Играть «Уроженку Брабанта», наш государственный гимн, под носом у нацистов было верхом дерзости. Все равно что

---

[9] Примечания: 9

«Уроженка Брабанта» — государственный гимн Бельгии, который сочинил Ф. Ван Кампенхоут в 1830 г.

кричать им в лицо: «Проваливайте, убирайтесь вон, вы проиграли, вы теперь никто и ничто!»

Кто мог осмелиться на такую выходку?

Шедшие первыми шепотом передали по цепочке остальным: то была Черт-Побери! Мадемуазель Марсель, молотившая пальцами по клавишам и выжимавшая ногами педали органа, впервые в жизни посетила церковь, чтобы объявить нацистам, что они проиграли войну.

Вне себя от восторга и восхищения, мы стояли перед церковью, словно присутствуя при блистательном и опасном цирковом номере. Черт-Побери играла просто замечательно, куда лучше задохлика-органиста, который аккомпанировал священнику во время мессы. Под ее пальцами инструмент, казалось, превращался то в сияющую раскаленную медь фанфар, то в тугой мужественный барабан. Звуки мелодии мощно неслись на нас, и от них дрожала земля, а в домах вибрировали стекла.

И вдруг скрип автомобильных шин. Черная машина затормозила перед церковью, и оттуда выскочили четыре молодчика.

Гестаповцы схватили мадемуазель Марсель, которая, лишившись возможности музицировать, принялась их оскорблять:

— Ваша песенка спета! Капут! Можете меня прикончить, это вам уже не поможет! Засранцы! Педрилы! Импотенты!

Нацисты без церемоний затолкали ее в машину и увезли.

Отец Понс, белый как полотно, перекрестился. У меня сжались кулаки, я хотел броситься за машиной, догнать ее, избить этих мерзавцев. Я схватил священника за руку — она оказалась ледяной.

— Она им в жизни ни словечка не скажет! Я в этом уверен на все сто!..

— Я знаю, Жозеф, знаю. Черт-Побери отважнее всех нас. Но что они с ней сделают?..

Ждать ответа на этот вопрос пришлось недолго. В тот же вечер, незадолго до полуночи, на Желтую Виллу нагрянуло гестапо.

Мадемуазель Марсель даже под пытками не проронила ни слова. Однако во время обыска у нее в аптеке нацисты обнаружили негативы фотографий, сделанных для наших фальшивых документов.

Мы были изобличены. Теперь не надо было даже снимать штаны. Нацистам довольно было просто заглянуть в наши паспорта, чтобы выявить самозванцев.

В двадцать минут все еврейские дети Желтой Виллы были собраны в одном из дортуаров.

Нацисты злорадствовали. Мы дрожали от страха. Я испытывал такое отчаяние, что не мог вообще ни о чем думать. Сам того не сознавая, я безропотно подчинялся приказам.

— Лицом к стене, руки вверх! И поживее!

Руди пристроился рядом со мной, но мне от этого легче не стало: глаза у него были выпучены от смертного ужаса.

Отец Понс ринулся в бой:

— Господа, я вне себя от возмущения, я понятия не имел, кто они такие! Я и подумать не мог, что это еврейские дети! Их привели ко мне, представив арийцами, настоящими арийцами. Я был обманут, надо мной посмеялись, злоупотребив моим доверием!

Хоть я не сразу понял, к чему он клонит, мне и в голову не пришло заподозрить отца Понса в стремлении выгородить себя, чтобы избежать ареста.

Главный гестаповец резко спросил:

— Кто привел к вам этих детей?

Отец Понс колебался, прежде чем ответить. Прошло десять долгих секунд.

— Что ж, лгать я не стану. Всех детей, которые

здесь находятся, привела аптекарша мадемуазель Марсель.

— И вас это не удивило?

— Она всегда приводила ко мне сирот. Вот уже пятнадцать лет. Еще задолго до войны. Она добрая женщина. И сотрудничала с благотворительной организацией, которая занималась обездоленными детьми.

— Кто платил за их содержание?

Отец Понс побледнел:

— На имя каждого из детей каждый месяц приходили конверты. Вы можете проверить в бухгалтерии.

— От кого приходили эти конверты?

— От благотворителей… От кого же еще? У нас все это зарегистрировано, вы можете получить все данные.

Нацисты, похоже, ему верили. Их начальник просто облизывался при мысли о том, как эти списки попадут к нему в лапы. И тут отец Понс пошел в атаку:

— Куда вы их намерены отвезти?

— В Мехелен.

— А потом?

— Это уже не ваше дело.

— Но ехать придется долго?

— Наверняка.

— В таком случае позвольте мне разобрать их вещи, сложить чемоданы и приготовить им в дорогу еду. С детьми нельзя так обращаться, сын мой. Доверь вы мне своих детей, неужели вы бы согласились, чтобы я их так отправил в дальний путь?

Гестаповец с жирными ручищами колебался. Уловив это, отец Понс устремился в образовавшуюся брешь:

— Я же знаю, что вы не причините им зла. Я только соберу их в дорогу, а вы приходите за ними утром.

Попавшись на удочку чувствительности, смущенный наивностью этого попика, начальник гестаповцев захотел показать, что не такой уж он злобный субъект.

— Завтра утром, едва часы пробьют семь, дети будут вымыты, одеты, накормлены и построены во дворе со своим багажом, — мягко гнул свое отец Понс. — Не обижайте меня. Я с ними годами вожусь. Когда мне доверяют ребенка, можете не сомневаться, что все будет как надо.

Гестаповец окинул взглядом три десятка еврейских мальчишек в ночных сорочках, подумал о том, что ему все равно не раздобыть грузовика

раньше завтрашнего утра, почувствовал, что и сам хочет спать, пожал плечами и пробурчал:

— Ладно, отец мой, полагаюсь на вас.

— Будьте спокойны, сын мой. Ступайте с миром.

И гестаповцы в своих черных мундирах покинули пансион.

Подождав, пока они удалятся, священник повернулся к нам:

— А сейчас, дети, без криков и без паники, тихо соберите свои вещи и оденьтесь. А потом — бежим.

У нас всех вырвался долгий вздох облегчения. Отец Понс позвал воспитателей из других дортуаров — пятерых юных семинаристов — и затворился с ними в нашем зале.

— Дети мои, мне понадобится ваша помощь.

— Можете рассчитывать на нас, отче.

— Мне нужно, чтобы вы солгали.

— Но…

— Вы должны солгать. Во имя Христа. Завтра вы скажете гестаповцам, что партизаны в масках ворвались на Виллу вскоре после их отъезда. Вы скажете, что вы сопротивлялись. К тому же, чтобы никто не усомнился в вашей невиновности, вас найдут привязанными к кроватям. Вы

согласны, чтобы я вас привязал?

— Можете даже побить нас, отче.

— Спасибо, дети мои. Насчет побить — я не против, но при условии, что вы сами побьете друг друга.

— А как же вы?

— Мне нельзя оставаться с вами, завтра гестапо мне уже не поверит. Им понадобится виновный, вот я и сбегу вместе с детьми. Вы им, естественно, «донесете», что это я предупредил своих сообщников-партизан.

В следующие несколько минут мне довелось увидеть самое невероятное зрелище из всего, чему я был когда-либо свидетелем: юные семинаристы с самым серьезным видом, тщательно целясь, принялись колошматить друг друга, стремясь расквасить нос, рассечь губу или подбить глаз, причем тот, кому попадало, просил ударить еще, если считал, что предыдущая плюха оставила на его лице недостаточно красноречивый след. Затем отец Понс крепко привязал их к кроватям, заткнув каждому рот тряпкой.

— Дышать можете?

Семинаристы закивали — кто с «фонарем» под глазом, кто с окровавленным носом, и все — со слезами на глазах.

— Спасибо, дети мои, — сказал отец Понс. — А чтобы вам было легче продержаться до утра, думайте о Господе нашем Иисусе Христе.

После чего, удостоверившись, что мы взяли с собой только самые легкие и необходимые вещи, он велел нам бесшумно спуститься по лестнице и вывел из здания через заднюю дверь.

— Куда мы теперь? — прошептал Руди.

И хотя я был наверняка единственным, кто имел на этот счет кое-какие соображения, я ему не ответил.

Мы прошли через весь парк, до самой опушки. Там священник остановился:

— Дети, можете считать меня сумасшедшим, но дальше мы не пойдем!

Он объяснил нам свой план, который мы и приводили в исполнение весь остаток ночи.

Половина наших отправилась спать в крипту часовни. Остальные, и я в том числе, посвятили последующие часы тому, чтобы замести настоящие следы и создать фальшивые. Набухшая от дождя земля чавкала под ногами, и не было ничего легче, чем оставить на ней замечательные отпечатки подошв.

Мы пересекли опушку и вышли из парка через узкую калитку. Затем, с силой вдавливая каблуки

в мягкую почву, ломая ветки кустарника и даже нарочно теряя по дороге некоторые вещи, мы полями спустились до самой реки, а там уже отец Понс довел нас до пристани.

— Ну, вот, теперь они подумают, что здесь нас поджидало какое-нибудь суденышко… А теперь, дети, мы проделаем этот путь обратно, но идти будем на сей раз задом наперед — чтобы следов было вдвое больше и чтобы вели они только в одну сторону.

Возвращение было медленным и мучительным: ноги скользили и физическая нагрузка усугублялась страхом и усталостью. Когда же мы вновь оказались на опушке парка, пришлось заняться самым трудным: что есть сил молотя ветками по мокрой земле, уничтожить следы нашего перехода от Желтой Виллы к старой часовне.

Небо на востоке уже начало алеть, когда мы присоединились к нашим товарищам, спавшим в глубине крипты. Отец Понс тщательно запер дверь часовни изнутри и наглухо задраил люк над нами. В качестве ночника он зажег одну-единственную свечу.

— Спите, дети мои. Сегодня рано вставать не придется.

Неподалеку от того места, где я опустился на пол, он выгородил себе небольшое пространство, сложив из сваленных грудой книг, словно из кирпичей, подобие стены. Когда он заметил меня, я спросил:

— Можно мне прийти в вашу комнату?

— Конечно, малыш.

Проскользнув к нему, я уткнулся щекой в его тощее плечо. Я едва успел поймать на себе его взгляд, исполненный нежности и доброты, и моментально заснул.

Утром гестаповцы заявились на Желтую Виллу, обнаружили там связанных семинаристов, возмущенно завопили, что их обманули, помчались по нашему ложному следу до самой реки и даже куда-то дальше.

Им и в голову не могло прийти, что мы вовсе не сбежали, а только спрятались.

Отцу Понсу теперь ни в коем случае нельзя было показываться на поверхности. Но и нам оставаться в подпольной синагоге было тоже никак невозможно. Да, наша жизнь была спасена, но теперь все проявления этой самой жизни становились проблематичными, ведь приходилось говорить, есть, мочиться, испражняться. Даже сон перестал быть убежищем и отдыхом, поскольку

спать приходилось на голом каменном полу, причем каждому в своем собственном ритме.

— Ты видишь, Жозеф, — говорил мне с улыбкой отец Понс, — морское путешествие в Ноевом ковчеге не очень-то напоминало увеселительную прогулку!..

Впрочем, весьма скоро партизаны пришли к нам на помощь, забирая нас по одному и пряча в надежных местах. Руди забрали одним из первых, и наверняка потому, что он занимал слишком много места. Когда приходили за очередным мальчиком, отец Понс никогда не показывал на меня. Было ли это случайностью? Я позволял себе думать, что ему не хочется со мной расставаться как можно дольше.

— Может, союзникам удастся победить пораньше? Может, нас скоро уже освободят? — подмигивая, говорил он мне.

Он не терял времени даром и на протяжении этих недель углублял вместе со мною знакомство с еврейской религией.

— Жизнь каждого из вас — это не просто обычная человеческая жизнь, в ней заключено послание. Я не хочу, чтобы это послание погибло, так что давай работать.

Однажды, когда нас в крипте осталось всего пя-

теро, я указал священнику на трех моих спящих товарищей:

— Понимаете, отец мой, мне бы не хотелось умереть вместе с ними.

— Почему?

— Потому что, хоть мы с ними и живем вместе, они мне не друзья. Что у меня с ними общего? Только то, что мы все жертвы.

— Зачем ты мне говоришь это, Жозеф?

— Затем, что я бы предпочел умереть вместе с вами.

Я положил голову к нему на колени и высказал то, что не давало мне покоя:

— Я бы предпочел умереть вместе с вами, потому что я предпочитаю вас. Я бы предпочел умереть вместе с вами, потому что не хочу вас оплакивать, а тем более не хочу, чтобы вы оплакивали меня. Я бы предпочел умереть вместе с вами, потому что в этом случае вы стали бы последним человеком, которого я увидел в жизни. Я бы предпочел умереть вместе с вами, потому что небеса без вас мне совсем не понравятся, даже наоборот — мне там будет плохо!

В это мгновение кто-то забарабанил снаружи в дверь часовни:

— Брюссель освободили! Победа! Англичане

освободили Брюссель!

Отец Понс вскочил и подхватил меня на руки:

— Свободны! Слышишь, Жозеф? Мы свободны! Немцы уходят!

Тут проснулись и остальные мальчики.

Партизаны вывели нас из крипты, и мы принялись с хохотом бегать и скакать по шемлейским улочкам. Из домов доносились радостные крики, ружья палили в небо, в окнах вывешивались флаги, люди пускались в пляс, извлекая бутылки со спиртным из укромных мест, где они были припрятаны в течение пяти лет.

Я до самого вечера не отпускал от себя отца Понса. Обсуждая новость с каждым из односельчан, он плакал от радости, и я собственноручно утирал эти слезы. По случаю такого праздника я имел право быть девятилетним ребенком и в этом качестве сидеть на плечах у человека, который меня спас, я имел право целовать его розовые и соленые щеки, имел право радостно смеяться взахлеб. До самого вечера, светясь от счастья, я с него не слезал, и он, хоть ему и было тяжело, не жаловался.

— Войне скоро конец!

— Американцы идут на Льеж!

— Да здравствуют американцы!

— Да здравствуют англичане!
— Да здравствуем мы!
— Урррaa!

С того самого дня, 4 сентября 1944 года, я всегда думал, что Брюссель был освобожден потому, что я вдруг без обиняков объявил отцу Понсу о своей к нему любви. Это совпадение навеки оставило след в моей душе, и с тех пор я всегда ожидал праздничного салюта и появления знамен в тот момент, когда признавался в своих чувствах женщине.

Последующие дни оказались, по крайней мере в наших краях, еще более опасными и убийственными, чем военное время. В период оккупации враг был ясно различим и находился на прицеле; при освобождении же выстрелы раздавались то оттуда, то отсюда, контролировать их было невозможно, и воцарился хаос. Водворив своих подопечных обратно на Желтую Виллу, отец Понс запретил нам покидать пределы парка. И все-таки мы с Руди не могли удержаться от того, чтобы не залезть на наш дуб, ветви которого нависали над стеной. Сквозь просветы в листве можно было видеть всю эту голую долину, простиравшуюся до самых дальних ферм. Сидя там, мы, конечно, не могли участвовать в сражениях,

но до нас доносились их отголоски. Так, я увидел в машине с открытым верхом того самого немецкого офицера, который не выдал нас тогда, в душевой, — в одной сорочке, окровавленный, с покрытым синяками лицом и обритой головой, он сидел, плотно зажатый между вооруженными освободителями, которые везли его навстречу бог знает какому возмездию…

Продовольствия по-прежнему не хватало. Чтобы обмануть чувство голода, мы с Руди собирали на лужайке полные пригоршни какой-то темно-зеленой травы с очень толстыми стеблями и набивали ею рот. Вкус был горький, противный, но зато рот был полон.

Порядок постепенно восстанавливался, хотя вместе с ним подчас приходили дурные вести. Мы узнали, что нашу аптекаршу мадемуазель Марсель подвергли жутким пыткам, прежде чем депортировать куда-то на Восток. В каком состоянии она вернется оттуда, да и вернется ли вообще? Ведь худшее из наших подозрений все-таки подтвердилось: нацисты в своих концлагерях уничтожали узников. Миллионы людей были расстреляны из пулеметов, удушены газом, сожжены и погребены заживо.

Я снова стал мочиться в постель. Испуг возы-

мел обратную силу: я был в ужасе от той участи, которой сумел избежать. Задним числом я испытывал не только страх, но и стыд: я думал об отце, которого увидел с дерева, но не счел нужным окликнуть. Был ли это в самом деле он? Жив ли он еще? А мама? Теперь я воспылал к ним любовью, которая удесятерялась от угрызений совести.

Безоблачными ночами я тайком выбирался из дортуара, чтобы поглядеть на небо. Когда я находил «звезду Жозефа и мамы», ночные светила вновь принимались петь на идише. И тотчас в глазах у меня все туманилось, и, лежа на лужайке навзничь, со скрещенными на груди руками, я вскоре начинал задыхаться, глотая собственные сопли и слезы.

У отца Понса теперь не было времени учить меня ивриту. Целыми неделями, с утра до ночи он носился как угорелый, выискивая следы наших родителей, сличая шифрованные документы, составленные участниками Сопротивления и привозя из Брюсселя списки погибших в нацистских лагерях.

Для некоторых из нас все выяснилось быстро: все их родные погибли, они оказались единственными, кому удалось уцелеть. После уроков мы пытались утешать их как могли, выказывая им

самое дружеское участие, но сами в глубине души неотступно мучились вопросом: не я ли буду следующим, кому сообщат то же самое? Добрая ли весть задержалась в пути? Или, наоборот, очень плохая?

Как только надежды стали уступать место фактам, Руди вбил себе в голову, что он потерял всех своих: «У такого шлемазла, как я, просто не может быть по-другому». И действительно, каждую неделю отец Понс доставлял ужасные новости: сначала про его старшего брата, потом про других братьев, потом про сестер, а потом и про отца — все они погибли в газовых камерах Освенцима. И каждый раз огромная безмолвная боль обрушивалась на моего друга, и мы с ним часами лежали в траве, держась за руки и уставившись в небо, полное солнца и ласточек. Кажется, он плакал, — я не смел повернуть голову, боясь причинить ему лишнее страдание.

Как-то вечером отец Понс возвратился из Брюсселя, пунцовый от напряжения — он слишком быстро крутил педали своего велосипеда, и устремился прямо к Руди:

— Руди, твоя мать жива! Она приезжает в Брюссель в пятницу, вместе с другими уцелевшими.

В ту ночь Руди так рыдал от облегчения, что я

даже испугался, как бы он не умер, задохнувшись от слез, прежде чем увидит свою мать.

В пятницу он поднялся до рассвета, чтобы помыться, одеться, начистить до блеска ботинки — словом, преобразиться в настоящего буржуя, каким мы его никогда не видели, причем до такой степени, что я признал его, под напомаженными и разделенными косым пробором волосами, лишь по торчащим, как у фавна, ушам. Он был так возбужден, что трещал без умолку, перескакивая с одного на другое и не успевая закончить ни одной фразы.

Одолжив у кого-то автомобиль, отец Понс решил, что мне тоже следует поехать с ними, и я впервые за три года покинул Желтую Виллу. Чтобы не омрачать радость Руди, я постарался хоть на время позабыть тревогу об участи моей собственной семьи.

В Брюсселе моросил мелкий дождь; водяная пыль висела в воздухе среди серых фасадов, заволакивая стекла машины прозрачной дымкой и заставляя лосниться тротуары. Едва оказавшись в шикарном отеле, куда должны были доставить уцелевших узников, Руди бросился к швейцару в красно-золотом мундире:

— Где здесь фортепиано? Я должен отвести туда

маму. Она выдающаяся пианистка. Она виртуоз. Она дает концерты!

После того как нам удалось обнаружить в баре сверкающий лаком рояль, выяснилось, что депортированных уже привезли, что они уже прошли дезинфекционную обработку, помылись и теперь их кормят в ресторане.

Руди помчался в зал ресторана; мы с отцом Понсом следовали за ним.

Рахитичные мужчины и женщины с землистой кожей, приставшей к костям, с одинаковыми черными кругами у одинаково пустых глаз, изнуренные до того, что едва могли удержать в руках ложки, склонились над супом. На наше появление они не обратили ни малейшего внимания, ибо были всецело поглощены едой — и страхом, что ее могут у них отнять. Руди окинул взглядом зал:

— Ее здесь нет. Может, у них есть другой ресторан, отец мой?

— Сейчас узнаю, — ответил священник.

И тут с одного из диванов раздался голос:

— Руди!

Оттуда поднялась какая-то женщина и, махнув нам рукой, едва не упала.

— Руди!

— Мама!

Руди кинулся к окликнувшей его женщине и стиснул ее в объятиях.

Я не мог узнать в ней мать, которую столько раз описывал мне Руди, — высокую, властную женщину с величественной грудью, сине-стальными глазами и бесконечными, густыми, роскошными черными волосами, вызывавшими восхищение у публики. Сейчас он обнимал маленькую старушку, почти совсем облысевшую, с застывшим боязливым взглядом выцветших серых глаз, чье костлявое тело, широкое и плоское, едва проступало под шерстяным платьем.

Тем не менее они шептали друг другу на ухо фразы на идише, плакали, уткнувшись друг другу в плечо, и я пришел к заключению, что Руди, если только он никого ни с кем не перепутал, изрядно приукрасил свои воспоминания.

Он хотел увести ее из ресторана:

— Пойдем, мама, в этом отеле есть рояль!

— Нет, Руди, я хочу сначала доесть.

— Ну пойдем же, пойдем!

— У меня тут еще осталась морковь, — сказала она, топнув ногой, словно упрямый ребенок.

Руди не мог скрыть своего изумления: вместо властной матери перед ним была маленькая де-

вочка, не желающая расстаться со своей миской. Отец Понс жестом велел ему уступить.

Она медленно, тщательно доела свой суп, собрав кусочком хлеба оставшийся на дне тарелки бульон и вычистив фарфор до блеска, равнодушная ко всему остальному. Вокруг нее остальные депортированные столь же сосредоточенно трудились над своими тарелками. После нескольких лет постоянного недоедания они поглощали пищу с какой-то грубой страстью.

Потом Руди, предложив матери руку, помог ей встать и представил нас. Совершенно изможденная, она все же нашла в себе силы улыбнуться.

— Вы знаете, — сказала она отцу Понсу, — если я осталась в живых, то лишь потому, что надеялась снова увидеть Руди.

Руди захлопал ресницами и перевел разговор на другое:

— Пойдем к роялю, мама.

Пройдя через салоны, сделанные, казалось, из взбитых белков, преодолев несколько дверей, тяжелых от толстых шелковых портьер, он осторожно усадил ее на табурет и поднял крышку инструмента.

Она оглядела рояль с волнением, которое тотчас сменилось растерянностью. Не разучилась

ли она? Ее нога скользнула к педали, а кончики пальцев ласково коснулись клавиш. Ее била дрожь. Ей было страшно.

— Играй, мам, играй! — шепнул Руди.

Охваченная паникой, она взглянула на сына. Она не смела признаться ему, что сомневается в себе, что у нее нет сил, что…

— Играй, мам, играй! Я тоже пережил всю войну в надежде, что однажды ты будешь снова играть для меня.

Она покачнулась, удержала равновесие, ухватившись за рояль, и посмотрела на клавиши как на препятствие, которое ей предстояло преодолеть. Ее руки робко приблизились, а затем мягко погрузились в слоновую кость.

И вознеслась самая нежная и самая печальная мелодия, которую мне когда-либо доводилось слышать. Поначалу несмелая, жиденькая, а затем все более мощная и уверенная, музыка рождалась под ее пальцами, усиливалась и набирала высоту, потрясая и приводя в отчаяние.

Играя на рояле, мать Руди обретала плоть. И теперь я уже различал в ней ту женщину, которую описывал мне Руди.

Закончив играть, она обернулась к сыну.

— Шопен, — прошептала она. — Ему не дове-

лось пережить то, что вынесли мы, однако же он все предугадал.

Руди поцеловал ее в шею.

— Ты начнешь снова учиться, Руди?

— Клянусь тебе!

В последующие недели мне то и дело доводилось встречаться с матерью Руди, которую согласилась поселить у себя с питанием одна старая дева из Шемлея. Она вновь обретала формы, краски, волосы, авторитет, а Руди, приходивший к ней по вечерам, уже не казался тем непроходимым тупицей, каким мы его всегда знали, и даже стал обнаруживать удивительные математические способности.

По воскресеньям на Желтой Вилле собирались дети в возрасте от трех до шестнадцати лет, которых прежде прятали от нацистов. Из окрестных деревень приводили всех, кого еще не забрали их близкие. Они выходили на импровизированный помост, расположенный под навесом, чтобы посетители могли их разглядеть. Приезжали многие: кто разыскивал сына, кто дочь, кто племянника или племянницу, а кто и детей совсем дальних родственников, после массового уничтожения евреев полагая себя отныне ответственными за их судьбу. Приезжали также супружеские пары,

готовые взять сирот на воспитание.

Я с нетерпением ожидал этих воскресений — и одновременно боялся их. Всякий раз, проходя по помосту после объявления моего имени, я надеялся услышать крик — мамин. И всякий раз, когда я шел обратно под вежливое молчание присутствующих, мне хотелось себя изувечить.

— Это я виноват, отец мой, что мои родители не приходят: я не думал о них во время войны.

— Не говори глупостей, Жозеф. Если твои родители не объявятся, в этом виноваты Гитлер и нацисты. Ни твоей вины, ни вины твоих родителей здесь нет.

— Вы не хотите отдать меня кому-нибудь на воспитание?

— Еще слишком рано, Жозеф. Без документов, удостоверяющих смерть родителей, я не имею права это сделать.

— Все равно меня никто не захочет взять!

— Прекрати, ты должен надеяться.

— Ненавижу надеяться. Когда я надеюсь, я чувствую себя противным и грязным.

— Немножко смирения, дружок, — и все-таки надейся!

В то воскресенье, опять ни с чем, опять униженный, решил отправиться вместе с Руди в поселок,

где они с матерью собирались пить чай.

Мы уже спускались по тропинке, когда я заметил вдали два силуэта, взбиравшиеся на горку.

Сам не зная почему, я вдруг сорвался им навстречу. Мои подошвы не касались земли. Я летел. Я мчался так, что ноги мои, казалось, вот-вот оторвутся.

Я не узнал ни мужчину, ни женщину, я узнал мамино пальто — из шотландки в розовую и зеленую клетку и с капюшоном. Мама! Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь еще носил такую же шотландку в розовую и зеленую клетку и с капюшоном.

— Жозеф!

Я вихрем налетел на своих родителей. Задыхаясь, не в силах произнести ни единого слова, я их ощупывал, оглаживал, прижимал к себе, я проверял, они ли это, я удерживал их на месте, не давая сделать ни шагу. Я сто раз повторял одни и те же беспорядочные жесты. Да, я чувствовал их запах, я видел их, да, они были живы!

Я был счастлив до того, что мне стало больно.

— Жозеф, мой Жозеф! Мишке, ты видишь, какой он красавчик?

— Как ты вырос, сынок!

Они говорили какие-то глупости, какие-то пу-

стяки, от которых мне хотелось плакать. Сам я уже не мог и слова из себя выдавить. Трехлетняя мука, накопившаяся за время нашей разлуки, обрушилась на мои плечи и раздавила меня. Разинув рот в долгом беззвучном крике, я мог только всхлипывать.

Сообразив наконец, что я не отвечаю ни на один их вопрос, мама обратилась к Руди:

— Наверное, мой Жозефеле слишком взволнован?

Руди подтвердил. И то, что мама, как прежде, поняла меня и обо всем догадалась, вызвало у меня новый поток слез.

Прошло больше часа, прежде чем я вновь обрел дар речи. Весь этот час я не мог от них оторваться, одной рукой вцепившись в руку отца и засунув другую в мамину ладонь. За этот час я узнал — из их рассказа отцу Понсу, — как они выжили: они скрывались совсем неподалеку от нас, работая в поле на одной из огромных здешних ферм. Им потребовалось так много времени, чтобы разыскать меня, потому что, вернувшись в Брюссель, они не застали там графа и графиню де Сюлли, а члены местной организации Сопротивления направили их по ошибочному следу, который завел их куда-то в Голландию…

Пока они рассказывали обо всех своих злоключениях, мама то и дело оборачивалась ко мне и шептала:

— Мой Жозефеле…

Как же я был счастлив снова слышать идиш — этот язык, исполненный такой нежности, что на нем невозможно даже звать ребенка по имени без того, чтобы не добавить к этому имени что-нибудь доброе, уменьшительное, милый слог, ласкающий слух, будто сладость, подаренная сердцевинке слова… Так я постепенно приходил в себя и теперь мечтал лишь о том, чтобы показать им свои владения — Желтую Виллу и ее парк, где я провел столь счастливые годы.

Закончив свою историю, они обратились ко мне:

— Мы возвращаемся в Брюссель. Сбегаешь за своими вещами?

Вот тут-то я обрел вновь дар речи:

— Как? Разве я не могу остаться здесь?

Воцарилось изумленное молчание. Мама часто моргала, не уверенная, что правильно расслышала мой вопрос; папа, стиснув челюсти, уставился в потолок, а отец Понс вытянул шею в мою сторону:

— Что ты сказал, Жозеф?

Я вдруг осознал, до какой степени дико должны были прозвучать мои слова для моих родителей. Стыд нахлынул на меня волной, но было слишком поздно! И я повторил, в надежде, что во второй раз мой вопрос произведет иное впечатление, нежели в первый:

— Я не могу остаться здесь?

Фигушки! Получилось еще хуже. Глаза родителей затуманились, они оба отвернулись к окну. Отец Понс изумленно вздернул брови:

— Жозеф, ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь?

— Я говорю, что хочу остаться здесь.

Совершенно неожиданно на меня обрушилась пощечина. Рука отца Понса словно дымилась, и он с грустью смотрел на меня. А я смотрел на него, потрясенный: до сих пор он еще ни разу меня и пальцем не тронул!

— Простите меня, отец мой, — промямлил я.

Он сурово покачал лысой головой, давая понять, что ждал от меня другой реакции; взглядом он указал в сторону моих родителей. Я подчинился.

— Прости меня, папа, и ты, мама, прости. Я только хотел сказать, что мне здесь было хорошо. Это я так попытался поблагодарить…

Родители заключили меня в свои объятия.

— Ты прав, мой родной. Нам никогда не удастся выразить всю нашу благодарность отцу Понсу!

— Это правда, — подтвердил мой отец.

— Ты слышишь, Мишке, наш Жозефеле теперь говорит совсем без акцента. Кто теперь поверит, что он наш сын!

— Он прав. Нам бы тоже избавиться от этого несчастного идиша…

Я прервал их и, пристально глядя в глаза отцу Понсу, уточнил:

— Я только хотел сказать, что мне будет очень трудно расстаться с вами…

По возвращении в Брюссель, несмотря на то что там меня ждал просторный дом, который отец, с какой-то мстительной энергией ринувшийся в бизнес, снял для нас, несмотря на мамины ласки и певучие интонации, я чувствовал себя одиноким, словно плыл по течению в лодке без весел. Огромному, беспредельному Брюсселю для моего спокойствия явно недоставало ограды. Я ел досыта, был одет и обут безупречно, и отведенная мне чудесная комната была завалена игрушками и книгами, но я тосковал по часам, проведенным вместе с отцом Пенсом в раздумьях над великими тайнами бытия. Мои новые одноклассники

казались мне пресными, учителя бездушными, уроки нудными, а домашняя жизнь — скучной. Оказывается, недостаточно было обнимать родителей, чтобы обрести их вновь. За три года разлуки они сделались мне чужими — и потому, что изменились сами, и потому, что изменился я. Они оставили ребенка, а встретили подростка. С другой стороны, жажда материального успеха настолько преобразила отца, что я едва узнавал смиренного, склонного к нытью портного из Скарбека в нынешнем нуворише, процветающем на импорте-экспорте.

— Вот увидишь, сынок, я сколочу целое состояние, и позже тебе останется лишь унаследовать мое дело, — говорил он мне с блестящими от возбуждения глазами.

Разве я хотел становиться таким же, как он?

Когда он предложил мне записаться в хедер, традиционную еврейскую школу, чтобы подготовиться к бар-мицве,[10] я не задумываясь отказался.

— Ты не хочешь отмечать свою бар-мицву?

— Нет.

— Ты не хочешь научиться читать Тору, писать

[10] Примечания: 10

Бар-мицва (ивр.) — церемония празднования религиозного совершеннолетия у еврейских мальчиков в возрасте тринадцати лет.

и молиться на иврите?

— Нет.

— Почему?

— Я хочу стать католиком!

Ответ не заставил себя ждать: я получил ледяную, резкую, яростную пощечину. За истекшие несколько недель это была уже вторая. Сперва от отца Понса, теперь от собственного отца. Как будто освобождение принесло мне лишь свободу получать затрещины!

Он позвал маму и потребовал, чтобы я повторил свои слова в ее присутствии. Что я и сделал: недвусмысленно объявил, что желаю принять католическую веру. Она расплакалась, он раскричался. В тот же вечер я сбежал.

Тут уж я сам крутил педали велосипеда по дороге в Шемлей, несколько раз сбивался с пути, но все-таки к одиннадцати часам вечера добрался до Желтой Виллы.

Я даже не стал звонить у ворот. Пройдя вдоль ограды, я толкнул ржавую калитку у опушки и направился прямо к заброшенной часовне.

Дверь была открыта. И люк тоже.

Как я и предполагал, отец Понс был в крипте.

Увидев меня, он раскрыл мне объятия. Я бросился к нему и выложил, как на духу, все свои

беды.

— Ты вполне заслужил еще одну пощечину, — сказал он, ласково прижимая мою голову к своему плечу.

— Да что вы все, сговорились?!

Он велел мне сесть и зажег несколько свечей.

— Жозеф, ты один из последних уцелевших сыновей великого народа, который только что подвергся уничтожению. Шесть миллионов евреев были убиты… Шесть миллионов! И хочешь ты того или нет, ты в долгу перед этими мучениками.

— Но что же у меня с ними общего, отец мой?

— То, что они дали тебе жизнь. То, что тебе грозила гибель вместе с ними.

— Ну и что? Разве не могу я думать по-другому, чем они?

— Разумеется можешь. Тем не менее ты обязан свидетельствовать о том, что они существовали, — в час, когда их больше не существует.

— А почему я, а не вы?

— И я тоже, каждый по-своему.

— Я не хочу отмечать бар-мицву. Я хочу верить в Иисуса Христа, как вы.

— Послушай, Жозеф, ты должен отпраздновать свою бар-мицву, хотя бы из любви к матери и

из уважения к отцу. А насчет веры — там будет видно. Потом.

— Но…

— Сегодня самое главное для тебя — это признать, что ты еврей. Религиозные верования тут совершенно ни при чем. А позже, если ты по-прежнему будешь настаивать, ты сможешь стать евреем, обращенным в христианство.

— Так что же, я по-прежнему останусь евреем? Навсегда?

— Да, Жозеф, ты останешься евреем навсегда. Отпразднуй свою бар-мицву. Иначе ты разобьешь сердце родителям.

Я чувствовал в глубине души, что он прав.

— По правде говоря, отец мой, мне даже нравилось быть евреем вместе с вами.

Он расхохотался:

— Мне тоже, Жозеф, мне очень нравилось быть евреем вместе с тобой!

Мы с ним еще хорошенько повеселились. Потом он взял меня за плечи:

— Отец любит тебя, Жозеф. Быть может, он любит тебя неловко или не так, как хотелось бы тебе, однако же он любит тебя так, как никогда не полюбит никого другого и как никто другой никогда не полюбит тебя.

— Даже вы?

— Жозеф, я люблю тебя так же, как и других ребят; быть может, несколько больше… Но это совсем другая любовь.

По тому облегчению, которое я испытал, мне стало ясно, что за этими словами я к нему и пришел.

— Ты должен освободиться от меня, Жозеф. Моя миссия выполнена. Теперь мы с тобой можем быть друзьями.

Он широким жестом обвел рукой крипту:

— Ты ничего не замечаешь?

Несмотря на полумрак, я разглядел, что подсвечников больше не было, свитка Торы тоже и фотографии Иерусалима… Я подошел поближе к книжным полкам:

— Как!.. Это уже не еврейские книги!

— Это уже не синагога.

— Что случилось?

— Я начинаю собирать новую коллекцию.

Он погладил корешки книг с непонятными мне буквами.

— Сталин может уничтожить русскую душу. Я собираю произведения преследуемых поэтов.

Но ведь это измена! Отец Понс нас предает!

Он явно прочел в моих глазах этот упрек.

— Нет, я не предаю тебя, Жозеф. Евреями придется заняться тебе. Отныне Ной — это ты.

* * *

Я заканчиваю эту повесть на террасе, в тени, и передо мною простирается целое море олив. Вместо того чтобы предаться послеполуденному отдыху вместе с остальными, я предпочел не избегать жары, ибо солнце привносит радость в мое сердце.

Со времени этих событий прошло пятьдесят лет. В конце концов я отпраздновал свою бармицву, унаследовал дело отца и не обратился в христианство. Я с увлечением изучал религию моих отцов и передал ее моим детям. Однако встреча с Богом так и не состоялась…

Ни разу за всю мою жизнь еврея — сначала благочестивого, а затем равнодушного — мне не удалось обрести вновь того Бога, присутствие которого я ощутил в детстве, в той маленькой сельской церкви, среди волшебных витражей, ангелов, несущих гирлянды, и гудения органа, того благосклонного Бога, который парил над букетами лилий, дрожащими язычками свечей и запахом вощеного дерева, созерцая укрываемых от беды детей и помогавших их прятать сельчан.

Я по-прежнему продолжал видеться с отцом Понсом. Я приехал в Шемлей в 1948 году, когда муниципалитет решил назвать одну из улиц именем мадемуазель Марсель, так и не вернувшейся из нацистского лагеря. Мы были там все — дети, которых она приняла, накормила и снабдила фальшивыми документами. Прежде чем снять покрывало с посвященной ей мемориальной доски, бургомистр произнес речь о доблестной аптекарше, упомянув и ее отца-офицера, героя предыдущей войны. Увеличенные фотографии отца и дочери возвышались среди груды цветов. Я не сводил глаз с портретов Черт-Побери и полковника: они были похожи как две капли воды, одинаково и чудовищно уродливые, и единственная разница между ними заключалась в усах полковника. Три дипломированных раввина восславили память и отвагу той, что ради нас пожертвовала собственной жизнью; затем отец Понс повел их осматривать свою прежнюю коллекцию.

По случаю моей свадьбы с Барбарой отец Понс получил возможность побывать в настоящей синагоге, где с явным удовольствием проследил за порядком исполнения ритуала. Впоследствии он часто бывал у нас дома по самым торжественным

поводам — на Йом-Кипур,[11] или когда мы праздновали Рош-Ашану[12] или дни рождения детей.

Однако я все же предпочитал наведываться в Шемлей, чтобы вместе с ним спускаться в крипту часовни, где неизменно царил успокаивающий душу, гармоничный беспорядок. За тридцать лет мне частенько приходилось слышать от священника сакраментальную фразу: «Я начинаю собирать новую коллекцию».

Ничто, разумеется, не могло уподобиться катастрофе еврейского народа во время войны, но каждое зло ужасно по-своему, и всякий раз, когда из-за людского безумия какой-нибудь народ на земле оказывался под угрозой уничтожения, отец Понс начинал собирать предметы, которые могли бы свидетельствовать об оказавшейся в опасности душе. Поэтому в его Ноевом ковчеге скопилось множество самых разнообразных вещей: там была коллекция, посвященная американским индейцам, вьетнамская коллекция, а также коллекция, связанная с тибетскими мо-

---

[11] Примечания: 11

Йом-Кипур (евр.) — Судный день, иначе говоря — День Великого прощения у евреев, отмечается через десять дней после Нового года. Некоторые ошибочно называют этот день праздником.

[12] Примечания: 12

Рош-Ашана (евр.) — еврейский Новый год.

нахами.

Читая газеты, я в конце концов научился предугадывать, когда при моем следующем посещении отец Понс вновь объявит мне: «Я начинаю собирать новую коллекцию».

С Руди мы дружим по-прежнему. Каждый из нас внес свою лепту в строительство Израиля. Я дал денег; Руди там поселился. Отец Понс пользовался любым случаем выразить свою радость по поводу того, что иврит — священный язык — возрождается и вновь становится живым.

Иерусалимский институт «Яд Вашем» учредил звание Праведников Мира для тех, кто во времена разгула нацизма воплощал в себе лучшие свойства человечества и, рискуя собственной жизнью, спасал евреев от уничтожения. Звание Праведника было присвоено отцу Понсу в 1983 году.

Он так об этом и не узнал, потому что умер незадолго до того. Этому скромному человеку наверняка бы не понравилась церемония, которую собирались устроить мы с Руди, и так же наверняка он стал бы протестовать и утверждать, что его вовсе не следует благодарить, что он всего-навсего выполнял свой долг, прислушиваясь к велению собственного сердца. Вообще-то говоря,

больше всего удовольствия от такого праздника получили бы мы — его дети.

…В то утро мы с Руди отправились на прогулку в рощу, которую в Израиле назвали его именем. Роща Отца Понса состоит из двухсот семидесяти одного дерева, каждое из которых олицетворяет спасенного им ребенка.

Теперь у подножия деревьев постарше уже росли молодые деревца.

— Смотри-ка, Руди, деревьев становится все больше, и скоро их число не будет означать ничего…

— Все правильно, Жозеф. У тебя сколько детей? Четверо. А внуков? Пятеро. Спасая тебя, отец Понс уже спас еще девять человек А в моем случае — двенадцать. В следующем поколении получится еще больше. И дальше — все больше и больше. Через несколько веков окажется, что он спас миллионы людей.

— Как Ной.

— Ты еще помнишь Библию, злодей? Ничего себе!..

Точь-в-точь как прежде, мы с Руди разнимся во всем. И точно так же, как прежде, любим друг друга.

Мы можем спорить и ругаться до хрипоты, а по-

том, обнявшись, пожелать друг другу спокойной ночи. Всякий раз, как я приезжаю к нему, на его палестинскую ферму, или он приезжает ко мне в Бельгию, мы сцепляемся по поводу Израиля. Я хоть и поддерживаю это молодое государство, но отнюдь не всегда одобряю его действия, в отличие от Руди, который оправдывает и с горячностью отстаивает любые порывы израильского режима, даже самые воинственные.

— В конце концов, Руди, любить Израиль вовсе не означает одобрять все решения Израиля! С палестинцами надо заключать мир. У них столько же прав жить здесь, сколько и у тебя. Это и их земля тоже. И они жили здесь еще до создания Израильского государства. Вся история преследований нашего народа должна была подвигнуть нас обратиться к ним именно с теми словами, которых мы сами ждали от других на протяжении стольких веков!

— Да, но наша безопасность…

— Мир, Руди, мир — это то, к чему нас учил стремиться отец Понс.

— Не будь наивен, Жозеф. Иногда лучшим способом добиться мира является война.

— Не согласен! Чем больше ненависти накапливается между двумя сторонами, тем менее

возможным становится мир.

За разговором, по дороге к масличной роще, нам пришлось проехать мимо палестинского дома, только что разрушенного гусеницами танка. Разбросанные вещи валялись в пыли, столбы которой еще поднимались к небу. Две стайки ребятишек яростно дрались посреди развалин.

Я попросил Руди остановить джип.

— Что тут произошло?

— Наши репрессии в ответ на вчерашний теракт палестинского смертника. Погибло три человека. Пришлось реагировать.

Не отвечая на его слова, я вылез из машины и пошел по обломкам.

Еврейские и палестинские мальчишки швыряли друг в друга камнями. Промахнувшись, один из них схватил толстую палку, бросился на ближайшего из противников и ударил его. Ответные меры не заставили себя ждать. Через несколько мгновений мальчишки из обоих кланов уже вовсю лупили друг друга обломками досок.

Я с воплем ринулся к ним.

Испугались ли они? Или просто воспользовались подвернувшейся возможностью прекратить драку? Так или иначе, они тотчас разбежались в разные стороны.

Руди не спеша, степенно приблизился ко мне.

Наклонившись, я заметил на земле предметы, которые потеряли драчуны. Я подобрал еврейскую ермолку и палестинский головной платок. Затем сунул ермолку в правый карман брюк, а платок — в левый.

— Что ты делаешь? — удивленно спросил Руди.

— Начинаю собирать коллекцию.